

Евгения Микулина

МЕТЕЛИЦА

ЖЕНЩИНА-ВАМП:
ВАМПИРСКАЯ ТРИЛОГИЯ



Евгения Микулина
Метелица. Женщина-
vamp: вампирская трилогия

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33169095
ISBN 9785449079459*

Аннотация

В Москве, в издательстве мужского журнала Alfa Male, появляется новый главный редактор – холодная красавица Марина. У арт-директора Влада завязываются с ней отношения, которые превращают жизнь юноши в драматическое и романтическое приключение.

Содержание

Женщина VAMP / МЕТЕЛИЦА (Рабочее название)	5
1	6
2	22
3	36
4	55
5	71
6	87
7	99
8	118
Конец ознакомительного фрагмента.	128

Метелица
Женщина-вамп:
вампи́рская трилогия

Евгения Микулина

Дизайнер обложки Екатерина Матвеева

© Евгения Микулина, 2018

© Екатерина Матвеева, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4490-7945-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Женщина VAMP / МЕТЕЛИЦА (Рабочее название)

Вдоль по улице метелица метет.
За метелицей мой миленький идет.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя.
На твою ли на приятну красоту,
На твое ли что на белое лицо...
Красота твоя с ума меня свела,
Иссушила добра молодца меня.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя.

А. Глебов

1

Хочется назвать ее мымрой. Но язык не поворачивается – даже мысленно, хотя я не уверен, может ли язык «мысленно» что-то делать, а тем более поворачиваться. Короче, невозможно назвать ее мымрой – слишком она хороша.

Да где там «хороша» – будем честны с собой: она ослепительна. Неправдоподобно, неприлично, тошнотворно красива. И ладно бы она была красива, как многие нынешние «модные» девицы – в пластмассово-блондинистом духе. Красива – как стандартный кукольный продукт бьюти-спасалона, ну вы знаете этих мочалок, они все тощие, загорелые, с маникюром длиной пять сантиметров, крашено-пероксидные, и всем им на вид тридцать два года, причем неважно, сколько на самом деле: кудесники-стилисты и пятидесятилетнюю тетку и девчонку восемнадцати с хвостиком отливают в один флакон... Нет, эта... мымра, мымра, мымра!.. Нет, она не такая. То есть я ни на секунду не сомневаюсь, что над ней колдует десяток визажистов – положение обязывает. Но она, чтоб ее, каким-то образом выходит из их цепких лапок... естественной. С матовой, гладкой, словно светящейся бледной кожей. Губы у нее яркие, как от самой ядреной помады, но, ей-богу, – никаких следов помады не видно, контур совершенно естественный. Естественно совершенный. Может, там, в Лондоне, откуда эта гадина свалилась нам

на голову, есть уже какие-то клиники, где такой цвет делают типа навсегда, ну как «вечную подводку», которая на самом деле татуировка? Да нет, вряд ли – я бы знал. Сколько лет в нашем бизнесе работаю, сколько сверстал журнальных страниц про чудеса косметологии – я бы знал, если бы кто-то в мире научился искусственно делать людям такие губы.

И потом, губы губами, а ее глаза? Огромные, темные, вишневого какого-то цвета и такие выразительные, с такими ресницами... А никакой косметики не видно! Ничего: ни туши, ни подводки, ни теней. Просто сияют два темных ночных лунных озера на бледном лице – словно сами по себе. И над ними черные брови взлет – такие щедрый на метафоры русский народ называет «соболиными». Ну их она точно красит и выщипывает, потому что не могут быть у женщины свои такие брови. А волосы? Вроде бы они просто темные, но в них намешано столько оттенков – от теплого, как лошадиный бок, черно-каштанового, до какой-то красной меди. Волосы у нее тоже вишневые, как и глаза, – они так и переливаются в свете ламп накаливания, которые противно звенят под гипсокартонным потолком большой переговорной, когда она встряхивает головой или небрежно отводит прядь за ухо.

Нет, ну я просто идиот. Волосы-то она точно красит – в этом никак сомневаться нельзя. Наверное, ее парикмахер ночами не спит, комбинируя все эти оттенки. Это точно продукт высоких технологий. Иначе просто быть не может. Что

я, совсем, что ли, ума лишился? Конечно, это краска. Дорогая, самая совершенная в мире – как и все у этой дорогой, самой совершенной в мире мымыры.

А ее фигура... Ну нет, про фигуру я сейчас даже думать не буду. Мне плевать, отчего у нее все так прекрасно, от фитнеса или от силикона, но думать об этом нормальный человек на редколлегии не может. Потому что в джинсах становится маловато места. И ведь она не тощая совсем – вон руки какие гладкие, ровные, бледные, и плечи совсем не костлявые – сейчас как раз видно, потому что у нее блузка с широким вырезом съехала вбок и обнажила левое плечо. Стоп! Собирался же не думать. Черт подери... Надеюсь, она не скажет вот сейчас, что «все свободны, можно расходиться», – не хотелось бы мне сейчас вставать из-за стола и демонстрировать всем революцию в своих штанах. Хотя кто это заметит? Девчонки-ассистентки? Зануды-редакторы? Или веселые гомики-стилисты? Эти, может, и заметят, хотя не факт. У нас тут, знаете, массовое безумие, мы замечаем только ее, даже геи на ней помешались. Но она – мымыра – точно заметит. От нее ничего не укроется. Иногда мне кажется, что у нее есть глаза на затылке и лишняя пара ушей. Потому что, ей-богу, – она знает буквально все, что вокруг происходит. Словно мысли читает. И иногда так улыбается – слегка, одними уголками губ, снисходительно, как будто мы все тут малые дети, а она одна – взрослая.

Мымыра.

И чего я, впрочем, вцепился в это слово из кинофильма «Служебный роман»? Во-первых, ни о каком романе и речи быть не может. Во-вторых, тут все другое... И Алиса Фрейндлих в том кино была в любом случае слишком страшная и старая, чтобы зритель мог поверить в волшебную силу любви и дивное преобразование их офисной мымры в пленительную женщину. А эта, наша... Хотел бы я посмотреть, кто осмелится закрутить с Ней роман. Да и кому захочется? У нее другая проблема. Она слишком совершенна. И она нам чужая.

Сколько ей, кстати, лет? Даже интересно. Выглядит она потрясающе – на двадцать пять от силы. Меньше даже. Но если она работала столько лет в Лондоне и такая крутая бизнес-леди, что ее нам скинули без всяких предисловий и объяснений, – значит, ей должно быть больше. Сильно больше. Хотя фиг ее знает – она, очевидно, из нынешнего поколения «лондонских русских», этих непристойно богатых олигархических деток, которые у любого труженика глянцевого индустрии вызывают естественную зависть и раздражение, потому что какого дьявола я тут сижу и работаю в поте лица, чтобы в свои уик-энды проводить время так, как они, – все время, то есть зависая в модных кофейнях за разговорами о свежем альбоме Coldplay (он ужасен – они все украли у U2!), и новом фильме Вуди Аллена (скучно, но Скарлетт Йоханссон просто чудо какая красотка!), и том, что «Одноклассники» – это отстой и пора переходить на Facebook (ко-

торый ничем, по-моему, не лучше этих самых «Одноклассников»). Короче, если она из этих деток, а это наверняка так, то у нее такая видимо где-то «лапа», что, может, она стала главным редактором первый раз еще сидя на горшке? Вот и опыт накопился...

Эта мысль заставляет меня улыбнуться. И я тут же чувствую на себе ее взгляд. Ну конечно, она заметила. Черт, я знаю, как нелепо сейчас выгляжу: сижу на дальнем от нее конце длинного стола, за которым мы всегда собираемся для совещаний, и специально избегаю смотреть ей в глаза, делая вид, что рисую что-то на листочке с разблюдовкой редакционного плана на сентябрьский номер. Ну я в конце концов арт-директор, мне положено рисовать. Кружок, теперь его надо взять в квадрат, расчертить диагоналями и продлить сегменты круга наружу – словно треугольные кусочки сыра, вырезанные из круглой головки. Черт. Кто-то мне когда-то говорил, что люди, рисуя такие вот сегменты круга, всегда думают о сексе. Ну то есть наоборот – думая о сексе, рисуют такие сектора... Черт. Черт. Чертова мымра.

Я знаю, что покраснел. Вернее, может, и не покраснел – часто кажется, что краснеешь, хотя на самом деле это не так, только ощущение одно. ОК, мне кажется, что я краснею. А она на меня смотрит... Чтобы как-то скрыться от ее взгляда, я опираю щеку на руку и запускаю пальцы в волосы – все равно они не слушаются никак и всегда похожи на разметанный ветром стожок, так что можно их ерошить сколько душе

угодно – хуже не будет, потому что хуже не бывает.

– Влад, а что ты об этом думаешь?

Черт! Дорисовался. Она обращается ко мне, а я даже понятия не имею, о чем она только что говорила.

Я поднимаю голову и неопределенно хмыкаю.

Она смотрит на меня с этой своей противной улыбкой:

– Что ты думаешь по поводу этой съемки?

Какую, интересно, съемку она имеет в виду? Я бросаю быстрый взгляд вокруг себя и отмечаю, что стилист Олежка выжидательно повернулся ко мне. Значит, речь идет о его съемке мужской коллекции осеннего сезона. Значит, вопрос в том, будем ли мы снимать вещи на мальчике-модели, которого Олег, кажется, пытается закадрить, или как-то еще. От меня как от арт-директора, очевидно, ждут какого-то смелого и интересного предложения по стилистике съемки. Но мне совершенно нечего сказать. Не потому что у меня нет идей – спасибо, с этим все в порядке. Просто я не хочу давать Ей никаких идей.

Я пожимаю плечами. Мне надо ей хоть что-то ответить.

– Ну я не знаю. – Я с отвращением понимаю, что мой голос звучит хрипло. Приходится прокашляться. – Кхм, идея Олега в принципе неплохая. Подбор вещей удачный, а это большой подвиг, учитывая, какие лысые в Москве магазины, – наши закупщики все-таки очень странно работают... Но я не уверен, что нужно все показывать на одной модели. Как-то все-таки надо дать понять людям, что эта несчастная

одежда подходит разным типам мужчин, а не одному.

Олег смотрит на меня с досадой – я испортил ему кадр режманекенщика. Мыра задумчиво кивает, как будто я сказал нечто умное, а не самую разбанальную банальность, и смотрит на меня из-под полуопущенных ресниц. О чем она думает? Словно оценивает про себя что-то. Инициатива разговора переходит к ответственному секретарю редакции, умной лупоглазой девочке Кире, которая отвечает в коллективе за распределение денег, и все начинают обсуждать, потянет ли наш бюджет, если мы найдем на съемку двух или даже трех манекенщиков. Уфф... Меня оставили в покое. Я могу снова расслабиться и вернуться к своему рисованию, старательно избегая сегментов круга. Расслабиться, впрочем, невозможно, потому что она опять на меня смотрит. Мне остается только стиснуть зубы. Рано или поздно эта чертова редколлегия закончится, и я смогу пойти в свой кабинет, и покурить, и побрести потом домой.

Я ее ненавижу, эту красавицу, я не хочу с ней работать. Я хочу, чтобы она убралась к чертовой матери в свой Лондон, или откуда она там приехала, и чтобы все в журнале снова стало так, как было три недели назад, когда я уезжал в отпуск. Господи, неужели это было только три недели назад? Я хочу, чтобы на ее месте снова сидел Михалыч, мордастый, смешливый и бородатый, блестящий журналист, умница, пьяница, мой главный редактор на протяжении трех лет работы. Мой друг. Михалыч, а не эта холодная, совер-

шенная, гламурная дрянь по имени Марина Леонова, которую руководство издательского дома назначило нам новым главным редактором. Михалыча уволили так внезапно – буквально за те две недели, что меня не было. Я даже не понял толком, что случилось, – начальство что-то бляело про то, что его «нельзя показывать рекламодателям». Ну ладно, я признаю, что толстый и всегда чуточку похмельный Михалыч и в самом деле был странным «лицом» для глянцевого журнала о мужской моде под названием Alfa Male, «вожак стаи», то есть, фигурально говоря, «первый парень на деревне». Но он все-таки был мужчина. В каком бреде они назначили главным редактором мужского журнала женщину? Причем эту конкретно женщину, которая выглядит так... женственно, как будто в собственном мобильнике не сможет разобраться, не то что спланировать большую статью о новинках автомобильной промышленности, – а у нас и этим надо заниматься.

Я сразу хотел уволиться – благо репутация у меня такая, что меня в любом издательском доме с руками оторвут. Но Михалыч специально со мной встретился, чтобы попросить остаться. Мы напились в дупель, конечно, и он чуть ли не со слезами на глазах меня уговаривал не бросать наш дурацкий глянцевый листок. Потому что, говорил Михалыч, теперь, после его ухода, я – единственный, кто еще знает, каким должен быть наш журнал. Каким мы его задумали и три года делали. Нельзя допустить, говорил он, чтобы из-

за «этой бабы» все развалилось.

Я его послушал и остался. И сижу теперь в нашем привычном офисе в старом здании на Петровке (нашему адресу все завидуют – конечно, рядом лучшие рестораны, но никто даже отдаленно не представляет себе, какие тут проблемы с парковкой!), в бледно-лиловый цвет покрашенной перегородной, за длинным серым столом с пластиковой столешницей, и слушаю звон ламп и гомон своих коллег, которые бурно обсуждают будущий номер, и рисую каракули на листке формата А4, и чувствую на себе ее взгляд.

Какого черта я послушал Михалыча? С самого начала было ясно, что дело швах. От одного взгляда на эту женщину, с ее идеальным лицом, гривой темных волос, с ее фигурой, вечно одетой во что-то шелковое и струящееся, у меня мороз прошел по коже. Потому что ее красота выносит мозг. И потому что ее сразу хочется придушить. И не говорите мне, что я просто боюсь совершенства, потому что оно мне напоминает о том, как ущербен я сам. Ни фига подобного. Комплекс неполноценности – это не про меня. И не в том дело, что мне неприятна мысль о том, чтобы подчиняться женщине. Я же не шовинист какой-нибудь. Есть очень клевые женщины, которым я бы с большим удовольствием подчинился... в том числе на работе. Но эта женщина просто невыносима. Я не знаю почему. Просто она... другая. Неправильная. «Не моя». Черт, я даже сам для себя не могу сформулировать толком, в чем дело.

Пока что в качестве главного редактора она не сделала ничего плохого или глупого. Наоборот – очень разумно ко всему подходит, и идеи у нее есть хорошие. Наверное. Иначе отчего бы все вокруг были в таком восторге и со всех сторон только и слышалось: «Ах, Марина то, Марина сё». У мужиков-редакторов на нее у всех, по-моему, стоит. Мне ли не знать. Девицы все хотят быть на нее похожими – еще бы. Геи, судя по всему, тоже – один из них даже волосы в «ее» цвет перекрасил. Тупица. Такого цвета невозможно добиться обычной краской для волос. Это особенный цвет. Такого больше ни у кого быть не может. Только у нее.

Черт бы ее побрал!..

Хвала Аллаху – редколлегия наконец заканчивается. Я понятия не имею, что мы напридумали, но у меня будет шанс это выяснить – завтра Кира принесет мне листочек с обновленным планом номера и все заново расскажет. Хорошо быть «художником» – можно часть своей вызванной раздражением невнимательности списать на артистичность натуры. Я встаю, собираю со стола свои бумажки и уже нащупываю в кармане джинсов сигаретную пачку. Еще минута, и я буду свободен. Она уже исчезла – ушла в свой кабинет и тихонько прикрыла дверь.

Уже вечер – теплый летний вечер. Небо за окнами офиса посинело. Сейчас хорошо будет пройтись по улице не торопясь, зайти в «Азбуку вкуса» за красным вином, чтобы было с чем скоротать время дома. Чем я займусь сегодня? Кино,

что ли, посмотреть? Идти никуда не хочется – клубы осточертели. Какие на фиг клубы, когда я всерьез размышляю о том, чтобы написать заявление об уходе с любимой, между прочим, работы?

Это странно, но мне расхотелось идти домой. Я буду там один, и ничто не сможет отвлечь меня от неприятных мыслей. От Нее ничто не сможет отвлечь.

Я решаю задержаться еще немного на работе. В конце концов, я не успел перед редколлегией посмотреть макеты, которые наверстали мои дизайнеры, смешная парочка по имени Паша и Маша. Надо глянуть – я же им завтра утром должен буду сказать, что переделать. Переделывать им всегда приходится – ну нету у ребят настоящего картиночного чутья, той легкости, без которой глянцевого макеты не делаются. Да, посижу еще часок здесь. В интернет слазаю, почту проверю...

Приняв это решение, я иду на кухню за кофе. Никто в офисе не понимает моей страсти к странной бурде, которую производит общественная кофеварка. У нас в редакции есть нормальная, хорошая кофеварка, в которой получается отличный эспрессо, и все ею пользуются. Но только не я. Мне нравится бурда – с молоком. Я ее так и называю – «бурда» и пью просто литрами. Ну должны у человека быть свои причуды?

Я наливаю кофе в свою личную чашку, на которой написано «House vs God» – то есть «Хаус против Бога», мне ее подарил Михалыч потому, что мне очень нравится сериал

про циничного диагноста доктора Хауса, а там был эпизод, когда он соревновался с Богом – кто больше жизней спасет. Мне как-то болезненно-странно, что чашка тут, у меня в руках, а Михалыча больше нет. Это неправильно и чертовски обидно.

В офисе пусто, и ничто не мешает мне закурить прямо здесь, на кухне. Я держу в одной руке кружку, а другой сую в зубы сигарету и щелкаю зажигалкой, чтобы прикурить. Ничего сложного в этой операции нет – я проделываю ее по много раз на дню...

– Влад? Могу я с тобой поговорить?

Черт! Ее голос звучит за моей спиной так неожиданно, что я роняю кружку. Как этой женщине удастся так внезапно появляться, словно из пустоты? Ради бога, она же на каблуках – как может женщина бесшумно ходить на каблуках?!

Моя любимая кружка разбита вдребезги, кофе разлился по кафельному полу противной бежевой лужей. Черт, и на джинсы попало... Гадость какая!

Я понимаю, что ругаюсь вслух. Марина сначала неподвижно стоит в дверях кухни, а потом делает шаг вперед, протягивая мне бумажные салфетки. Я принимаю это «подношение» и на секунду касаюсь ее пальцев. У нее очень красивые пальцы – длинные, тонкие, округлые ногти покрашены бесцветным лаком. Руки прохладные, что очень странно в такой теплый летний день, но неожиданно приятно. Она делает шаг назад и говорит:

– Прости, пожалуйста. Я не хотела тебя пугать.

Пугать? Чем она меня может испугать?

Я смотрю на нее исподлобья, одновременно судорожно вытирая штанину – бесполезная, между прочим, операция, джинсы все равно придется теперь стирать. Элементарная вежливость и офисная мудрость – она же все-таки моя начальница – заставляет меня буркнуть:

– Ничего страшного, всякое бывает. Это просто от неожиданности. Я не слышал, как ты подошла.

Она улыбается:

– Мне часто говорят, что я будто подкрадываюсь. Честное слово – ничего подобного. Я просто так хожу. Привычка.

– Хорошая привычка.

– Да, возможно.

Я смотрю на нее – на нее невозможно не смотреть, особенно когда она так близко и ее вишневые глаза не мигая встречаются с твоими. Я издаю какой-то странный звук, а затем мне удается членораздельная речь:

– Ты вроде хотела со мной поговорить?

Она пожимает плечами:

– Да. На самом деле я хотела спросить, есть ли у тебя планы на ланч на завтра. Если ты свободен, то, я думаю, нам с тобой стоит сходить вместе пообедать. Я вижу, что ты не особенно счастлив – не доволен тем, как все складывается. Это надо обсудить.

Она говорит это сдержанно, холодным деловым тоном.

Меня же, наоборот, внезапно настигает вспышка ярости. Кровь бросается в лицо, и раздражение выплескивается в дурацком вопросе:

– Уволить меня хочешь?

Она снова ловит мой взгляд – чертова гипнотизерша.

– Вовсе нет. Я хочу, чтобы мы с тобой сработались. Мне очень важно, чтобы в команде остался человек, который делал этот журнал с самого начала и знает, каким он должен быть. Я просто хочу показать, что я не так плоха, как тебе кажется.

Черт бы ее побрал – за ее проницательность и за то, что она сказала это буквально теми же словами, что и Михалыч. Ну, опустив конечно фрагмент про «эту бабу». Мой гнев стихает так же быстро, как вспыхнул. Что мне остается, кроме как согласиться? Я бурчу свое «ОК» и отвожу глаза.

Марина удовлетворенно кивает и подходит к кофейной луже, в которой лежат осколки моей чашки.

– Не кручинься, царевич, по разбитой кружке. Я куплю тебе новую, лучше прежней, – говорит она напевно, явно изображая какого-то сказочного персонажа.

Я невольно улыбаюсь – у нее получается забавно. Мы вместе наклоняемся над осколками и начинаем их собирать. Я замечаю со странным удовлетворением, что она совершенно спокойно ступает в край лужи своими, вероятнее всего, невообразимо дорогими замшевыми туфлями. Приятно, что ей наплевать на собственные дизайнерские шмотки. Хотя,

конечно, почему бы ей беспокоиться – у нее их явно такие кучи, что можно и в кофе наступить, чтобы показать сотруднику свою демократичность. Это прямо-таки безнравственно, чтобы были на свете такие красивые и такие богатые люди.

Черт! Ну что за день сегодня такой неудачный?! Поднимая осколок, я неожиданно глубоко режу о неровный край указательный палец – на подушечке сразу появляется полоска крови. Я снова ругаюсь вслух, торопливо облизывая порез.

Марина резко отодвигается в сторону и отворачивается.
– Что случилось?

Она снова поворачивает ко мне напряженное, еще больше обычного побледневшее лицо, и говорит сухо:

– Прости... Я совершенно не выношу вида крови.

Меня посещает странное чувство: мне и смешно, и как-то вдруг тепло на сердце, оттого что эта железная леди не лишена маленьких, глупых женских слабостей. Я улыбаюсь:

– Марина, брось, это же просто порез.

Ей не смешно – ее губы напряженно сжаты.

– Мне плохо даже от одной капли.

Я прячу руку за спину. Это странно, но мне почему-то не хочется, чтобы она сейчас ушла, – а она явно собирается уйти, пятится к выходу в коридор, стараясь на меня не смотреть. Я спрашиваю мягко – надеюсь, что получается мягко, я вовсе не хочу над ней издеваться:

– А мышей ты не боишься?

Она отошла уже на безопасное расстояние и позволяет себе кислую усмешку.

– Нет, мышей не боюсь. – Она уже почти ушла, но оборачивается в дверях и говорит напоследок: – Я и крови не боюсь. Я просто не могу на нее смотреть спокойно.

Все – она ушла. И меня охватывает какое-то странное чувство – будто пустоты. Мне ничего больше не хочется – ни кофе, ни курить, ни тем более работать.

За окнами уже совершенно темно. Кое-как собрав с полу кофейную лужу (стыдно оставлять свинарник ночным уборщикам, которые скоро явятся в офис) и похоронив осколки кружки в мусорном ведре, я запираю свой кабинет и выхожу на улицу. Все по плану – и прогулка по городу, и покупка красного вина, и просмотр DVD. Но я уже не так раздражен, как после редколлегии. Завтра мы с ней пойдем обедать. Чем черт не шутит – может, ей и удастся объяснить мне, что «она не так уж плоха»? Гипнотизерша чертова.

– Мымра.

Я произношу это слово вслух – первый раз за день. И понимаю, что улыбаюсь.

2

Глубокая ночь. Небо над Москвой никогда не бывает по-настоящему синим и темным, в нем всегда реет какое-то противное марево, но сейчас оно мне нравится. Оно как-то неожиданно высоко, и с большой террасы, ради которой я и купила когда-то эту квартиру в сталинском доме на пересечении Чистопрудного и Покровского бульваров, небо кажется огромным и глубоким. А шум машин где-то там, внизу, далеко-далеко от моего девятого этажа, не мешает даже моим чувствительным ушам.

Вообще-то, конечно, с моей стороны было глупо покупать квартиру с такой большой террасой. Я все-таки очень болезненно реагирую на солнце – сгораю почти мгновенно, как часто бывает с белокожими людьми. Потому и живу почти постоянно в дождливом Лондоне, потому и переехала с такой готовностью в Москву, где слякотная непогода держится девять месяцев в году. Летом – днем – мне эта терраса, конечно, ни к чему. Но вечером и ночью, в то время, которое я, вечная «сова», считаю «своим», здесь чудесно. Когда я сижу здесь в кресле, закинув ноги на пуфик, и потягиваю коктейль «Кровавая Мэри», слегка измененный по моей личной рецептуре, я чувствую себя великолепно. Это самое лучшее время моей жизни – а в моей жизни было много всего хорошего. Мне совсем не на что жаловаться. Я слушаю смутный

шум большого города, я вижу его огни, и мне нравится, что я добилась идеального баланса: я и над этим огромным человеческим миром, и часть его. Это очень правильно и очень успокаивает.

Обычно – но не сегодня вечером. Сегодня я недовольна собой. Меня мучает совесть и досада на собственную неосторожность, потому что я никак не могу сказать, что не замечала происходящего. Замечала, и еще как. Просто не захотела вовремя остановиться. Или не сумела все-таки? Увлелась сладкими мыслями? Упустила момент? Как я могла – такая опытная, умудренная жизнью особа?

Мне ли не знать, что таким, как я, нужно жить аккуратнее? Мне столько всего дано. Я столько могу. Практически я могу сделать все, что придет мне в голову, и получить все, что захочу, – стоит только попросить вежливо, а иногда и просто протянуть руку. Но именно поэтому мне нужно быть осторожнее в своих желаниях. Нужно все время, постоянно следить за собой. Потому что исполнение моих желаний может причинить боль окружающим. Я-то пойду по жизни дальше, спокойная и бесчувственная, как обычно. Как всегда. А они – люди вокруг меня... Им будет больно от того, что я с ними сделала. Они будут сломаны, несчастны, разбиты. Обескровлены.

Я делаю еще один глоток коктейля и хмурюсь, прокручивая в голове события последней недели. Наверное, я совершила глупость еще в самом начале пути, когда спонтанно

приняла предложение занять место главного редактора мужского журнала Alfa Male вместо Ильи Михайлова по прозвищу Михалыч, блестящего, но крайне ненадежного журналиста, который уже давно беспокоил моих лондонских друзей, владеющих выпускающим этот уважаемый модный листок издательством. Нет, я неправильно выражаюсь – того, что я приняла предложение, мне не жаль. Я сочувствую, конечно, уволенному Михалычу – он приятный человек, мне всегда нравились его статьи и журнал его тоже в чем-то нравился. Но он, конечно, совсем не подходил на роль главного редактора в мужском журнале, который претендует на статус «лучшего в мире». Михайлов – стопроцентный мужчина, обычный, банальный мужчина без чутья и воображения. А я никогда не могла отделаться от простой мысли: журнал для мужчин не могут делать одни мужчины. Потому что зачем они существуют, эти журналы? Чтобы научить мужчину быть сексуальным – научить его нравиться женщинам. Но мужчины понятия не имеют, что нравится женщинам на самом деле. У них об этом какие-то искаженные представления. И когда они делают журналы исходя из этих представлений, получаются журналы не для мужчин, а для гомосексуалистов: мужчины на их страницах нравятся только сами себе. Мужской журнал должна делать женщина – женщина, понимающая толк в мужчинах. Такая как я.

Нет, я не могу сказать, что жалею о принятом предложении. Мне наконец представился шанс сделать то, о чем

я очень долго думала – мечтала даже. Но я в самом деле жалею о том, что приехала вот так сразу, не подготовившись. Не изучив как следует обстановку. Не познакомившись со своей будущей «командой».

Меня подвела самоуверенность – естественная, конечно, в человеке с моим опытом и знаниями, но все равно непростительная. Я знала наверняка, что с работой проблем не будет: в издательском деле я могу все. И ни к чему тут ложная скромность. Я так люблю все, что связано с производством журналов – съемки, суету, лавирование между разными вкусами и интересами, разнообразие задач – вроде бы одних и тех же, но каждый день разных, так что даже мне не надоедает искать пути их решения... Саму тусовку, в которой крутится столько красивых и странных людей, что мне легко меж ними затеряться. Я столько всего и разного делала в разных журналах – писала, снималась, снимала, редактировала и издавала. Работала с людьми, жила рядом с ними, изучала их – любила и заставляла любить себя. Я так хорошо все это знаю, так люблю. Ничто не может застать меня врасплох – так я думала еще неделю назад. Вернее, я вообще не думала об этом – у меня причин не было об этом думать, в чем-либо сомневаться.

Я непростительно расслабилась, и конечно же, я была наказана.

Влад Потоцкий застал меня врасплох.

Конечно, я слышала его имя и видела его работу. И мне

было совершенно очевидно, что именно он, его глаз и чутье, до сих пор делали русское издание Alfa Male более или менее красивым и сексуальным журналом – даже вопреки вопиющему несоответствию Михалыча должности главного редактора. Им очень повезло с арт-директором, думала я каждый раз, просматривая свежий номер, – а я всегда внимательно читаю весь «глянец», благо времени у меня предостаточно. По каждому его макету, по выбору обложек, по работе со шрифтами было видно: у Влада есть дерзость и вкус, и он остро чувствует моду, не только в одежде – он явно интуитивно понимает и что интересно публике, и, что еще важнее, как оно будет работать на журнальной странице. Я заочно уважала его и твердо знала – что бы я ни изменила в Alfa Male, арт-директором непременно должен остаться Влад Потоцкий. Он ровно такой, каким должен быть арт-директор в МОЕМ журнале. Он идеален, он – то, что мне нужно.

Я и представить себе не могла, насколько он идеален и насколько будет мне нужен.

Я оказалась совершенно не готова к его красоте. Я видела в жизни столько красивых людей – они окружали меня всегда. Я не думала, что кто-то может меня так поразить. Но вот же – пожалуйста. Такой простой, казалось бы, мальчик. Высокий, худой, длинный: длинные ноги в неброских дизайнерских джинсах, длинные руки, длинные пальцы, которые так мягко ложатся на клавиши компьютера, так красиво держат сигарету, так нервно барабают по столу, когда

он чем-то раздражен или просто задумался.

Он очень вкусно пахнет. Это удивительно, кстати, потому что у мужчин крайне редко получается подобрать себе одеколон, который бы меня не раздражал, – у меня очень чувствительный нос, и некоторые запахи, например магнолия, меня просто бесят, доводят до тошноты. Влад – другое дело. Он пахнет какой-то приятной свежестью, чем-то травяным и терпким – понятия не имею, что это, но что-то очень хорошее. Ну и еще он пахнет собой, конечно. Как все люди. Но он – как-то особенно.

У него такая странная грация – он будто слегка развинчен во всех суставах. Он слегка сутулится. Он кажется таким хрупким. И юным – чего стоят только его мешковатые футболки с дурацкими надписями вроде «Fuck Work!», кеды с развязанными шнурками и вечно взъерошенные волосы, чуточку волнистые, непослушные, темные рыжеватые волосы с выгоревшими на солнце прядями. Такие бывают у мальчишек, которые провели лето, гоняя по проселочным дорогам на велосипеде и целыми днями торча на берегу реки. Ну все правильно – он и есть мальчишка, самый настоящий мальчишка. Сколько ему лет – двадцать шесть? Рядом с ним я чувствую себя бесконечно, безмерно, непоправимо старой...

Московское небо над моей головой становится совершенно черным. На нем даже видны звезды. Я не знаю, сколько часов уже сижу здесь, на своей террасе, и как давно мое

недовольство собой сменилось этой глупой, глупой, глупой мечтательностью. Мне хочется выпить еще один коктейль, но я не думаю, что это разумно – мне вовсе не нужны завтра на работе покрасневшие глаза. А, к черту все – выпью: утро я вполне могу просидеть в темных очках, а ко времени обеда с Владом все уже пройдет. Мне нужно еще выпить, потому что я устала ругать себя, я хочу просто посидеть здесь еще и подумать о нем. Это баловство чистой воды, я точно знаю, чего ни в коем случае не должна и не буду делать: я не буду приближаться к нему, не по-настоящему, не так, как мне бы хотелось, потому что я ни в коем случае не могу причинить ему боль. То, что я сейчас о нем думаю, ни во что не выльется, не пойдет дальше. Я не буду строить планов – если не считать плана держать его на расстоянии. Я разумная, ответственная женщина, я не стану делать никаких глупостей. Но сейчас я очень, очень хочу подумать о нем еще. Почувствовать себя живой и настоящей – тут, одна в ночном городе, наедине с собой. Никакого вреда не будет. Я просто помечтаю...

Вкус «Кровавой Мэри» на губах заставляет меня вспомнить его губы – его широкий, подвижный рот, всегда готовый изогнуться в капризной усмешке. О, он капризен, и обидчив, и темпераментен, мой арт-директор, он не любит, когда что-то не по нему, и может надуться, как мышь на крупу, от любого неосторожного слова. На его высоких, резко очерченных скулах в такие минуты вспыхивает румянец – нервный,

быстрый, восхитительного цвета, такой бывает только у людей с очень хорошей кожей. Он бледнеет так же быстро, как краснеет, – да, кровь бежит по его венам очень проворно... И когда он бледнеет, его темные брови выглядят так, словно их углем прочертил Модильяни – линия такая же резкая, такая же безошибочно точная.

А его глаза... Я могу долго, долго думать о его глазах. Об их необычном, диковатом каком-то разрезе – бог знает, сколько разных кровей смешалось среди его предков, чтобы они стали такими. Об их цвете, который все время меняется с зеленого на почти свинцовый серый. О непристойно, не по-мужски длинных и густых ресницах. И о выражении этих глаз – одновременно и сонных и дерзких, словно похмельных. Иногда мне хочется назвать его взгляд «порочным» – но это абсурдно, потому что в нем нет порочности – он для этого слишком молод и слишком мало думает о самом себе. Это не порочность, а всего лишь беспечная наглость мальчишки, который знает, что талантлив, и привык к тому, что все его любят, и не задумывается – почему. Он никогда не любит себя, он принимает себя как данность. Его обаяние ровно в том и заключается, что он не подозревает о том, насколько исключителен, как выглядит со стороны, какое производит впечатление.

Он ослепителен. Необычен – сколько раз я отмечала про себя, что его лицо, с этими скулами, бровями, с этими дикими глазами и подвижным ртом в профиль и фас выглядит со-

вершенно по-разному, словно это два лица двух разных людей. Одинаково красивых, одинаково юных, одинаково беззащитных.

Да, именно так. Он красив, юн, и он беззащитен. Как бабочка, которая умирает от одного прикосновения к ее крыльям.

Могу себе представить, какое у Влада будет лицо, если его кто-то сравнит с бабочкой! Я просто слышу, как он фыркает, поднимает одну угольную бровь, кривит губы и, чуть разведя лежащие на столе руки – странно, что у него есть этот жест, я много раз видела его у англичан, но не здесь, не в Москве, – словно подчеркивая ими вопрос, скажет с непередаваемой смешливой интонацией: «Чего?!»

О-о. Нельзя, мне решительно нельзя проводить время за такими мыслями. Я ведь знаю, что на самом деле он просто юноша, просто обычный человек, в котором как-то по-особенному – для моих именно глаз, для моего восприятия – соединились цвета, линии, жесты и запахи. Он не чудо природы, не феномен – он обычный москвич двадцати шести лет, умный, способный, красивый парень, умеющий одеваться и подать себя, расслабленный. Обаятельный. Всё. Это, собственно, и всё.

Вот только я вижу в нем нечто большее. Нечто особенное. В моих глазах он... сияет. Он похож на... На самом деле он похож на какого-нибудь пастушка из греческого мифа, юного Париса или Адониса, которые бродили по запыленным го-

рам между серыми оливами, не подозревая о своей исключительности, – но при этом красивые настолько, чтобы вызвать восхищение, страсть и зависть олимпийских богов.

И Парис, и Адонис кончили плохо. Все эти пастушки кончили плохо. Хорошо, что я об этом вспомнила. Вовремя.

Небо светлеет – летние ночи коротки, скоро рассвет. Как всегда в это полусумеречное время, налетает холодный ветерок. Он заставляет меня поежиться. Не от холода, конечно, – я не чувствительна к холоду. Этот ветерок просто прилетел очень вовремя, чтобы вернуть меня к реальности – чтобы отвлечь от глупых мыслей и заставить взять себя в руки. Чтобы напомнить мне, кто я такая и как опасно этому красивому ребенку приближаться ко мне. И как непростительно с моей стороны будет приближаться к нему. Как бы мне этого ни хотелось. А мне давно – может быть, никогда за всю мою полную событиями жизнь – ничего еще так не хотелось. И, значит, я должна быть очень, очень осторожна. Я всегда гордилась своим самоконтролем, своей внутренней дисциплиной. Может быть, они никогда раньше не подвергались такому испытанию?

Я вздыхаю, глядя на серое небо. Что мне еще остается, кроме как вздохнуть?

В этой ситуации есть, однако, нечто позитивное. Он меня терпеть не может – я страшно его раздражаю. Он считает меня – и справедливо, конечно, – жестокой дрянью, которая лишила должности его близкого друга. Вероятно, он

также считает меня душой, которая взялась за работу, с которой не справится. Сегодня, на редколлегии, какие он бросал на меня смурные, сердитые взгляды, как поджимал губы, с каким остервенением рисовал на бумажке с планом номера какие-то каракули. С какой наглой небрежностью ответил на прямой вопрос по поводу модной съемки – в его тоне так и сквозило: «Отстань, женщина, ладно? Я тебя знать не хочу». Такое прелестное инфантильное раздражение. Такой трогательный протест уязвленной мужской гордости.

О, это правильно, Влад, – так ты и должен думать. Так и должен ко мне относиться. Держись от меня подальше, презирай меня, иронизируй. Не подходи ко мне. Для твоей же пользы. Для того чтобы моя совесть была спокойна.

У меня есть, впрочем, дилемма. Для него лучше держаться от меня на расстоянии. Мне куда легче будет блюсти дисциплину, если он будет меня ненавидеть. Но то, что хорошо – что единственно возможно! – для его и моей жизни, то очень плохо для работы. Нельзя, чтобы он принимал мои руководящие указания в штыки, считал их дурацкими бабскими капризами, которые можно игнорировать. Мне нужно, чтобы он работал на меня с удовольствием, – он нужен мне, чтобы делать журнал. И если он будет продолжать в том же духе, что всю эту неделю (а он в самом деле вел себя плохо, просто как натуральный саботажник – халтурил, тянул время, не слушал, чего я от него прошу, в общем, всячески пассивно протестовал), ничего не получится. Мы и сроки сдачи

запорем, и журнал испортим. Значит, мне придется убедить его в том, что я не так плоха, как ему кажется.

Проблема в том, что я гораздо, гораздо хуже.

Как мне быть? Как вести себя, чтобы он меня принял как начальницу – но и только? Я могу очаровать его – это на самом деле до смешного легко. В этом-то и опасность – я знаю людей, знаю, как легко они переходят от раздражения к заинтересованности, от ненависти к страсти. Я вижу в его бравде и обиде тревожные признаки – вижу, что интересна ему, что занимаю его мысли. Я вызываю в нем желания, которые его бесят и интригуют. Я слышу, как бьется его сердце – как ускоряется его ритм, когда он смотрит на меня. Я знаю, от чего он краснеет и злится. Мне так мало нужно приложить усилий, чтобы он стал моим. Стоит только протянуть руку, и я получу все, что хочу. Но я не должна перейти грань. Мне нужно как-то найти способ подружиться с ним – но не влюбить его в себя. А это сложно, сложно, сложно. Потому что грань очень тонка, а он очень красив, а я, в конце концов, всего лишь женщина.

Мне неприятно признаваться в этом самой себе, но опасность велика. Он мне слишком нравится. Я МОГУ потерять контроль. Могу оступиться. Но я не должна.

Сегодня, на кухне, когда он разбил из-за меня свою кружку и так нелепо и застенчиво по этому поводу злился, я оказалась близка к катастрофе. Я ведь намеревалась поговорить с ним сухо, спокойно, по-деловому. Но у меня ничего не вы-

шло – я слишком много ему улыбалась, слишком часто смотрела в глаза и прикоснулась к его руке. И у него, конечно, сразу сбилось дыхание, и расширились зрачки, и задрожали руки. Хорошо, что он порезался об этот злосчастный осколок, – вид его крови меня хоть чуточку отрезвил. Вернул с небес на землю. Заставил, в конце концов, уйти.

Когда он спросил меня, не боюсь ли я мышей, в его голосе звучала... нежность. Это очень, очень плохо. Но куда хуже то, что мне это понравилось.

Над Москвой встает солнце. На мою террасу оно попадает не сразу – она все еще скрыта густой серой тенью. Но это все равно знак того, что мне пора заканчивать свои одинокие посиделки. Я встаю, потягиваюсь и иду в квартиру – потихоньку собираться на работу. Такой хороший, свежий начинается день – мне так не хочется садиться в машину... Хм. Если взять крем против загара – с максимальной степенью защиты – и надеть что-то с рукавами, и держаться на теневой стороне улицы... Тогда я, пожалуй, могу дойти до работы пешком. Да, так я и сделаю – пройду по бульварам. Приду на работу, как обычно, слишком рано. Ну и прекрасно – подам хороший пример сотрудникам.

Я прохожу в ванную – причешусь и нанесу крем. Я внимательно изучаю себя в зеркале. Как я и думала, последний коктейль оказался лишним – глаза у меня покраснели. Надо не забыть солнечные очки.

Я размышляю над тем, не надеть ли мне любимое синее

платье – оно очень мне идет. Но потом вспоминаю про солнце и про обед с Владом и натягиваю джинсы и закрытый топ с длинными рукавами. Я не люблю так одеваться, и это хорошо – не хочу чувствовать себя нарядной и соблазнительной. Мне это не нужно. Не сегодня. Не с ним.

И, даже говоря себе все это, думая все эти совершенно правильные мысли, я вижу в зеркале, что на моем лице красуется глупая, счастливая улыбка. Ну что за наказание? Я ничего не могу с собой поделать: я улыбаюсь широко и счастливо, потому что иду туда, где увижу его. Потому что мы пойдем с ним сегодня обедать, и он будет мне улыбаться. И краснеть. И смотреть с недоуменным восхищением в глаза из-под неприлично густых ресниц, и ерошить непослушные волосы длинными, красивыми пальцами.

Тра-ля-ля-ля... Я иду сегодня обедать с Владом, и я очень, очень счастлива. Потому что я – бессовестная дрянь, забывшая всякий стыд и совесть.

Ну ничего – до ланча еще много времени, я успею вспомнить и стыд, и совесть, и опасность, которую я, существо без сердца, несу этому прелестному, хрупкому мальчику. Я возьму себя в руки – потом, попозже. А пока – пока я буду улыбаться.

Просто потому, что перестать улыбаться я не могу.

3

Не могу сказать, что всерьез боюсь спиться, но все же иногда я задаю себе вопрос: стоит ли молодому человеку, перед которым каждый вечер в чумной клубной Москве открывает массу приятных перспектив, тупо сидеть дома и в одиночестве глушить красное вино? Вчера вечером я мог куда-нибудь пойти. Мог созвониться с друзьями. Мог, наконец, к родителям заехать. Все было бы лучше, чем сидеть одному, пересматривать в десятый раз фильм «Престиж» и надираться, размышляя о тщете всего сущего. Это ненормально, чтобы человек предпочитал любимый фильм обществу живых людей. Но что мне делать, если я все время чувствую себя таким замотанным, что просто не хочу и в свободное время тоже с кем-то разговаривать? Хотя разве обязательно при этом пить? ОК, я выпил всего одну бутылку. Но я выпил ее ОДИН. А это, говорят знающие люди, первый признак алкоголизма.

Остается только радоваться, что я плохо переношу крепкий алкоголь: виски, водка, коньяк – все это не ко мне. Както с юности «не пошло». Пью в результате вино, как девчонка. Но это хоть не так вредно. Вон все жители Средиземноморья его как воду пьют целыми днями – и ничего, никто не зовет каких-нибудь итальянцев нацией алкоголиков...

Теперь я сижу в кабинете, тупо пялясь в монитор, и жалею о том, что моя работа не позволяет мне целый день провести

в темных очках: я же должен все-таки видеть неискаженные цвета на экране. У меня нет похмелья – еще чего не хватало, с одной-то бутылки хорошего вина. Но я, как ни крути, лег в три утра и встал в половине девятого. И мне этого мало. Нет ничего хуже жизни «совы», которой надо рано вставать. Мне бесполезно раньше ложиться – я все равно не засну. И в результате я просто все время недоспавший и злой – вот как сейчас.

Ну, скажем честно, у меня есть причины для недовольства жизнью. Вчера, бредя вечером домой по бульварам, я придумал отличную концепцию той злополучной модной съемки – на трех манекенщиках. А сегодня первым делом с утраца наша милая Кира пришла ко мне и сообщила с постной миной, что бюджета на трех манекенщиков у нас нет. А на одном – Олеговом фаворите – я делать съемку не хочу. Во-первых, Олег от этого разбогатеет. Во-вторых, это в самом деле неправильно. Ну и вообще – мне теперь жалко моей «тройной» идеи.

Но и в этом есть свои плюсы. Теперь мне хотя бы будет о чем говорить с Мариной во время нашего обеда – а он, между прочим, приближается с каждой секундой, и я думаю о нем со смешанными чувствами. Я понятия не имею, что она собирается мне сказать, как именно будет убеждать смириться с действительностью и начать работать как следует. Но что бы она ни сказала, я все равно не буду знать, что ей ответить. Мне самому трудно сформулировать перечень

моих претензий к ней – как только я начинаю их сам себе озвучивать, мне становится и смешно, и грустно. Потому что это не нормальные претензии, а какая-то детсадовская обида на обстоятельства. У меня, видимо, и нет никаких реальных претензий – все мои проблемы во мне самом. Я просто боюсь перемен.

И еще мне неуютно, потому что я знаю – она опять будет выглядеть совершенством: холодная, ослепительная, элегантная, с головы до ног упакованная в дизайнерское шмотье. И я буду сидеть напротив и чувствовать себя лохом. А мне это, вообще говоря, не свойственно – и хотя бы в силу этого неприятно.

Нет, так дело не пойдет – проблемы надо решать по мере их возникновения. Когда наступит время ланча (я бросаю взгляд на часы и понимаю, что до ужаса скоро – всего-то сорок минут), тогда я и буду страдать. А сейчас мне нужно поправить макеты – ребята мои в последнюю неделю расслабились и стали гнать какой-то недопеченный полиграфический продукт. Хотя не надо возводить на людей напраслину: расслабился я, их поведение – только реакция на мой креативный ступор.

Я сижу за компьютером в своей любимой позе: правая рука на мыши, а левой я подпираю голову. Очень удобно, если больше всего на свете тебе хочется упасть мордой на стол и заснуть. М-да, эту страницу надо просто переверстать – что могло заставить Пашу поставить пиджак от главного ре-

клямотателя в корешок, так что в печати от него будет видна едва ли половина? А если его передвинуть, то надо все передвигать – на нем весь макет завязан. Г-р-р-р... Как там говорил Гэри Олдмен в «Пятом элементе»? «Если хочешь, чтобы работа была сделана как следует, делай ее сам...» Ну что-то в этом роде.

Над моей головой звучит тихий смешок:

– Теперь я понимаю, почему ты всегда такой лохматый.

Я вздрагиваю от неожиданности и вскидываю глаза. Марина. Конечно, это она – кто еще мог подкрасться так бесшумно? Я сразу раздражаюсь – на себя, потому что вид у меня наверняка идиотский. И одновременно борюсь с изумлением. Она не только своим неожиданным появлением застала меня врасплох. Она сегодня не такая, как я ожидал: никаких элегантных тряпок, на ней простые черные джинсы и синяя майка с длинными рукавами и на ногах смешные разноцветные кеды. Вполне могла бы сойти за обычную женщину – если бы не это ее ослепительное, совершенное бледное лицо с темными-темными глазами. Каким-то образом сегодня, в этой простецкой одежде, она еще красивее, чем всегда. Хотя это, откровенно говоря, просто невозможно.

Я понимаю, что у меня разинут рот. И краснею. Великолепно – просто отлично, именно так ведут себя серьезные профессионалы, когда к ним обращается начальство. К тому же я понятия не имею, о чем она говорит.

Словно прочитав мои мысли, она поднимает бровь и ки-

вает на мою левую руку:

– У тебя все время пальцы в волосах – вот они и оказываются... уложены с элегантной небрежностью.

Она улыбается. Я уже говорил, какие у нее зубы? Наверное, ее дантист зарабатывает миллионы. Или это вставная челюсть?

Попытка мысленно пошутить не срабатывает – дар речи ко мне все еще не вернулся. Мне остается только хмыкнуть и убрать, наконец, руку от головы.

Марина поднимает в воздух руку с сумкой и слегка ею встряхивает:

– Ты готов? Уже пора идти. Столик заказан на полвторого.

– Да, конечно. – Я быстро нажимаю «сохранение» и встаю. Хлопаю себя по карманам: сигареты, телефон и бумажник на месте. – Пошли.

К счастью, в лифте мы едем не одни – я все еще слишком ошарашен, чтобы вести с ней сколько-нибудь разумную беседу наедине, в тесном замкнутом пространстве. На улице тоже проблем не возникает – мы просто идем молча. Марина подает голос только один раз: постояв секунду на залитом солнцем тротуаре, она бормочет тихонько, что «сегодня очень жарко», и быстро переходит улицу, чтобы попасть в тень. Никаких возражений – и правда жарко.

Столик ее секретарша нам заказала в ресторане «Барашка» – прекрасный выбор: совсем рядом с офисом и еда в самом деле очень вкусная. Мы садимся на террасе, в тени оран-

жевых занавесей, которыми столики отгорожены от любопытствующих прохожих. Официант немедленно приносит нам «комплимент от заведения» – по хрустальному стаканчику чая с чабрецом и засахаренные фрукты: это ресторан азербайджанской кухни и все меню имеет налет восточной экзотики. Здесь, чудо чудесное, даже суши в меню нет – а без них, кажется, ни одно место в Москве не обходится. Марина к своему чаю не притрагивается и фрукты игнорирует. Логично – наверняка у нее какая-то диета. Сами собой такие фигуры у женщин не бывают – над ними нужно напряженно работать.

Ее заказ меня удивляет – она не хочет салата, ей не нужен гарнир, она просит принести ей кусок мяса с кровью, несоленый, без приправ, минимальной прожарки, «практически сырой». Не хило. И эта женщина не выносит вида крови?

По какой-то причине зрелище того, как она подносит вилку с кусочком этого ярко-розового влажно-кровавого продукта к своим белоснежным зубам, меня завораживает.

Я говорю, не подумав – первое, что приходит мне в голову:
– Хищница.

Она опускает глаза, словно я ее чем-то смутил. А потом смотрит на меня с оттенком печали во взгляде:

– Ты так обо мне думаешь? Что я хищная и жестокая? Вероятно, ты прав.

Теперь уже смущен я:

– Ничего подобного. Не знаю, зачем я это сказал.

Она пожимает плечами:

– Нет, это хорошо, что ты так сказал. Мы же оба понимаем, что речь не о мясе, правда? Речь о работе. И я честно тебе признаюсь – я не знаю, что, собственно, собираюсь тебе говорить. Потому что ты прав – я, вероятно, в самом деле хищная и жестокая. Но только для работы это неплохо. Для нашего бизнеса это иногда просто необходимо.

Я молчу. Я знаю, к чему она ведет: она собирается оправдываться за то, что сместила с поста главреда Михалыча. Я только не понимаю – зачем, все равно уже ничего не исправишь. И, сколько ни оправдывайся, моего разочарования от произошедшего это не уменьшит.

Марина продолжает, и в ее голосе теперь слышится улыбка:

– Я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь о том, что вся эта история с моим назначением – что это было сделано некрасиво. И ты прав. Но честное слово, моя роль в этом деле минимальна. У нашего издательства есть хозяева. Они уже некоторое время были недовольны тем, как идут дела. Сам знаешь, обстановка на рынке сейчас не волшебная – конкуренция большая, кризис сказывается. Сейчас нельзя делать просто хороший журнал, как это было при Илье. Сейчас нужно делать исключительный, сногшибательно эффективный журнал – и делать его за пять копеек. Подумай сам – мог Илья Михайлов с этим справиться?

Она права, конечно – не мог. Я работал с ним три года

и высоко ценил, но именно поэтому я хорошо знаю его «потолок». Делать что-то необычное и блестящее в стрессовой ситуации – это не про Михалыча. Я киваю, гоняя вилкой по тарелке свой кусок мяса – хорошо прожаренный: я кровавых стейков не люблю. Потом поднимаю на нее глаза и спрашиваю – довольно бестолково:

– Почему ты?

– Потому, что умею делать журналы. Потому, что наши хозяева – мои друзья: у нас за плечами долгая история общения и совместной работы в Лондоне. Потому, что хищная.

Я ерзаю в кресле. Мне не доставляет удовольствия этот разговор, хотя возразить ей я ничего не могу. Она легонько касается своими прохладными пальцами моей руки, заставляя посмотреть на нее – в ее гипнотизирующие темные глаза.

– Они попросили им помочь. Я этого не добивалась – я просто вошла в положение. Им нужен в Москве сильный человек, чтобы защитить то, что вы столько лет так хорошо делали. Им нужна на посту главного редактора жестокая, эффектная дрянь – чтобы остальные могли жить спокойно. Чтобы ТЫ мог жить спокойно, не думая о проблемах.

Меня поражает выражение ее лица – оно неуловимо печальное и чуточку отстраненное. Словно у человека, обремененного грузом каких-то тяжелых обстоятельств: он с ними смирился, но не забывает и все в жизни делает, «держая их в уме». Мне кажется, что она говорит не только о работе – что есть еще что-то, чего я не знаю и чего мне, кажется,

лучше не знать. Но я понимаю вдруг, с крайним изумлением, что не хочу видеть ее печальной. И не могу слышать, как она говорит о себе эти ужасные вещи – с этим отрешенным, смирившимся лицом...

– Зачем ты так о себе говоришь?

Определенно, у меня сегодня день идиотских спонтанных высказываний!

Она передергивает плечами:

– Потому что это правда.

– Нет. – Я как-то неожиданно для себя начинаю кипеться и опровергать то, что она говорит о себе. То, с чем еще вчера – еще сегодня утром – был совершенно согласен. – То есть я не буду спорить – ты невероятно эффективная. Но дрянь? Но жестокая? Господи, ты себя... переоцениваешь. Черт, я не то хотел сказать. Я хочу сказать, что... Ты... Господи, я не сомневаюсь, что ты суперпрофи. Но ведь во все не за счет агрессии. Тебе это не нужно. Тебе достаточно просто слово сказать, и все будет сделано. И знаешь почему? Потому что ты красивая, и сильная, и все равно... хрупкая. Тебя не хочется обижать.

Господи, ЧТО я несу?! Я даже так не думаю. Ну не думал еще минуту назад. Но теперь я готов отстаивать – и отстаиваю! – свою парадоксальную точку зрения с завидной горячностью.

Марина смотрит на меня изумленно, а потом, довольно неожиданно, начинает залиvisto смеяться – заразительно,

прижимая руку к щеке, взглядывая на меня искоса из-под длинных ресниц и недоверчиво покачивая головой. Глаза ее весело блестят.

У нее на щеках, оказывается, ямочки.

А я – идиот. Полный, законченный идиот. Она моя начальница. На своих начальниц люди так не смотрят. И вообще, еще вчера я ее всей душой ненавидел.

Отсмеявшись, она доверительно наклоняется поближе ко мне – в оранжевой тени ее темные глаза отливают странным, красновато-фиолетовым блеском, и веселья в них уже нет, – и говорит:

– Спасибо. Ты не представляешь себе, как глубоко ошибаешься, но это совершенно не важно. Я все равно очень тронута. Мне много лет никто не говорил, что я хрупкая, и не стремился меня защитить. Оказывается, это очень приятно.

Я раздраженно качаю головой и смотрю на нее исподлобья – с ней просто невозможно, она говорит о своей силе с таким апломбом, что хочется ее щелкнуть по носу, как самоуверенную девчонку. Это просто смешно. Ошибаюсь я, как же! Нашлась, видите ли, «сильная женщина» – от горшка два вершка. Повинуясь дурацкой ассоциации, я задаю очередной свой «умный» вопрос:

– Сколько тебе лет?

Она реагирует неожиданно – короткой неловкой паузой – она уже открывает рот, чтобы ответить, потом меняет реше-

ние и выпаливает явную ложь:

– Тридцать.

Теперь моя очередь смеяться.

– Что?!

Она кивает, игнорируя мой недоверчивый смех, будто бы уже уверенная в своих абсурдных словах:

– Тридцать.

Впервые в жизни я встречаю женщину, которая ДОБАВЛЯЕТ себе возраст, причем неизвестно – зачем. При всех чудесах косметологии, при сколь угодно здоровом образе жизни ей никак не может быть больше двадцати пяти.

Я ловлю ее прохладные тонкие пальцы – определенно, моему идиотизму сегодня нет пределов:

– Врунья.

Секунду она смотрит на наши соединенные руки и затем медленно – чтобы не обидеть меня, видимо, она-то не идиотка, – отодвигает свои пальцы от моих. Она отвечает, не поднимая на меня глаз:

– Нет.

О чем она? О возрасте, о вранье или о том, что не надо мне было брать ее за руку?

– Марина, что ты пытаешься доказать? Что тебе никто не нужен? Но это не так – это не может быть правдой. Всем людям кто-то нужен.

Она смотрит наконец мне в лицо и говорит – снова с той же непонятной мне, щемящей отрешенностью:

– Да. Всем людям кто-то нужен.

Мой внутренний герой, тот рыцарь на белом коне, который, очевидно, живет в каждом из нас, хотя в обычной обстановке его днем с огнем не сыскать, немедленно бросается в бой – мне непременно нужно ее утешить. Но при этом не напугать своими, мне самому пока непонятными эмоциями. Мне нужно постараться и пошутить:

– Вот тебе, например, нужен я.

Что в этой фразе могло спровоцировать мимолетную панику, мелькнувшую в ее глазах?

Я продолжаю, не желая отвлекаться на эти непонятные перемены настроения и снова стремясь ее отвлечь и утешить:

– Как арт-директор – определенно нужен, верно?

Она облегченно улыбается и кивает. Смотрит на меня искоса:

– Правильно ли я понимаю, что я больше не мымра и ты готов работать как следует?

Черт. Откуда она знает про мымру? Неужели услышала? Но я точно не говорил этого при ней... Я знаю, что покраснел, и могу только улыбнуться:

– Определенно, не мымра. И мне очень жаль, что я всю неделю халтурил. Детский сад, штаны на лямках, а не арт-директор. С этой минуты все будет хорошо. Отлично. Так, как ты скажешь. Так, как ты захочешь.

Теперь уже она касается моей руки – мимолетно, но этого достаточно, чтобы от ее прохладного прикосновения сердце

мое забилося быстрее. Она смотрит на меня серьезно и теперь уже не грустно:

– Спасибо. Это много для меня значит. Я не говорила тебе этого раньше – не было ни повода, ни обстановки. Но я очень ценю твою работу – всегда ценила, даже когда еще просто читала журнал. И когда я думаю о том, как ты быстро всего достиг, как рано начал – тебе ведь было сколько, двадцать три, когда вы начинали делать журнал? Ты ведь, кажется, был самым молодым арт-директором в истории Alfa Male, верно? Это просто поразительно на самом деле, что ты это все сумел. Когда я думаю об этом, я тобой откровенно восхищаюсь. Я страшно рада, что у нас все наладится. Ты мне нужен.

Она, видимо, специально подчеркивает это слово – мое слово, из моей шутки, но она-то не шутит. Она, кажется, имеет это в виду – она считает, что я и правда что-то собой представляю. Ну хотя бы в плане работы.

Самая совершенная женщина в мире говорит, что я ей нужен. Хотя бы и просто для работы. С ума сойти.

Я чувствую себя очень странно – словно меня сначала надули, как шарик, а потом выпустили из меня воздух. Надо что-то делать, иначе меня увезут с работы в сумасшедший дом и Марина останется без арт-директора. Я судорожно копаюсь в мозгу – была же какая-то безобидная тема для разговора? И вспоминаю:

– Кстати, о работе. Кира сказала, что у нас нет бюджета на трех манекенщиков. А я уже все придумал – именно

на трех. Я не маленький и понимаю: нет денег – значит, нет. Но и на одном парне я все вещи показывать не хочу, скучно будет. И я пока еще не успел придумать, как быть.

Она откидывается в кресле с очень довольным выражением лица – словно предвкушает что-то приятное:

– Как ни странно, у меня есть одна мысль. Вчера, после редколлегии, я пошла по магазинам – искала подарок старому другу на день рождения. И в мужском отделе Ralph Lauren испытала волшебное чувство. Там были три манекена, одетые в вещи из новой коллекции. Обычные безголовые магазинные манекены. Но они были ТАК одеты, что никаких голов им было не надо – это были божественно прекрасные, сексуальные манекены. Знаешь эту историю, которую Джефф Голдблум рассказывает про съемки «Парка юрского периода»? Там в одной сцене динозавр пытается его героя сожрать, и на съемках, естественно, использовали манекен. И Голдблум говорит: «Это был такой дивный манекен – высокий, стройный, мускулистый, одетый в обтягивающие черные джинсы и майку... Я хотел бы быть похожим на него!» Ну эти манекены были в таком же роде. Каждый из них был воплощенным мужчиной моей мечты. Головы бы их только испортили – сделали бы картину слишком конкретной. А так... я могла мысленно поместить на них любую, самую прекрасную в мире голову.

Я слушаю ее с удовольствием – мне нравится идея, к которой она меня подводит, ее энтузиазм и желание что-то

придумать, и еще больше – откровенность, с которой она говорит об этом моменте сексуальной мечтательности. Мне не стоит сейчас задумываться, почему мне именно это особенно нравится. Мне необходимо отвлечься. Я усмехаюсь – в ситуациях острого смущения это самое верное:

– Хочешь снять модную историю на безголовых манекенах?

– А почему нет? Пусть люди фантазируют. Мужчины будут подставлять им свою голову. Ты же знаешь статистику – читателей-гетеросексуалов раздражают мальчишки-модели, потому что они слишком конфетные и по определению красивее, чем читатель: возникает комплекс неполноценности, и люди отказываются от покупки с мыслью «На этом красавчике пальто сидит хорошо, а мне не подойдет». А женщины будут представлять на них головы мужчин, о которых мечтают. Они тоже не всегда счастливы, глядя на манекенщиков: думают, что они все геи. А если и не геи – то, опять же, слишком красивы, чтобы быть доступными, а женщинам не нравится думать о недоступных мужчинах, у нас от этого депрессия. – Она забавно поджимает губы, словно отмечая, с похвальным смирением, что ей эта женская слабость тоже свойственна. – Мне кажется, безголовые манекены нас спасут. Идеальное тело, идеально одетое, и с любой воображаемой головой – это же дико сексуально.

Пока она говорит, я мысленно представляю себе съемку – это действительно может быть очень, очень здорово. Что на-

зывается, «дешево и сердито». Провокационно – с манекенами можно будет сделать все что угодно, и оттенок расчлененки придаст любой композиции ощущение опасности, которое несказанно украшает журнальную картинку. Да, она определенно молодец – с идеями у нее все в порядке. И самое главное – она вроде как не приказывает, не говорит мне, что делать, а намекает, что хотела бы увидеть. Она бросает мне мысль, просит: покажи мне, как это будет красиво. Хочется ей угодить.

Это приятное чувство, когда начальника хочется порадовать.

Только бы знать точно, что именно ее радует. Чего она хочет? Пойти, что ли, в тот же магазин и посмотреть на ее безголовую сексуальную мечту?

Вместо этого мой длинный язык уже занят оформлением вопроса:

– А какой он, мужчина твоей мечты? Ты чью голову подставишь на мои манекены?

Марина хитро улыбается:

– А ты стилизуй съемку – а я скажу, попал ты или нет. Если знать заранее, будет слишком легко.

Она права, конечно. Слишком легко и неинтересно. Куда увлекательнее будет придумывать образы, стараясь угадать – кто же он, ее идеал?

Нам приносят счет. Я пытаюсь заплатить, потому что меня так воспитали – начальница или нет, она женщина, и мне

не нравится, когда женщина за меня платит. Но она меня останавливает:

– Во-первых, я тебя пригласила. Во-вторых, я спишу это на производственные расходы: «Уговаривала Влада Поточкого не увольняться. Успешно».

– Хорошо. – Мне все еще это не нравится, но спорить с ней бесполезно. – Но в следующий раз плачу я.

Она бросает на меня быстрый взгляд:

– В следующий раз?

Мой голос звучит твердо:

– Да. В следующий раз.

Я страшно боюсь, что она, как женщина после неудачного свидания, поднимет бровь и скажет многозначительно: «Следующего раза не будет!» Но это ведь ерунда: мы коллеги, у нас не свидание – конечно, следующий раз будет. Если, конечно, меня не госпитализируют в психбольницу с диагнозом «разжижение мозга».

Она кивает – хорошо, мол, будет следующий раз.

Уже на выходе из ресторана она вдруг оборачивается ко мне:

– Я, кстати, все время хотела тебя спросить... Влад – это от Владислава или от Владимира?

Вопрос довольно неожиданный – все вокруг так привыкли к моему имени, что давно его не задают. Но она-то знает меня всего неделю. Я пожимаю плечами:

– От Владимира. Это глупо, наверное, что я его вообще

сократил. Но, как ты сама сегодня вспоминала, я был когда-то очень молод, и мне было неловко называться серьезным и взрослым Владимиром. Я хотел сохранять непринужденность. Но Володя – это как-то не по-дизайнерски. А Влад звучит... ну претенциозно, конечно, но чуточку круче. И теперь это вроде как псевдоним.

Она удовлетворенно кивает, одновременно цепляя на нос солнечные очки:

– Хорошо, что не Владислав. Я знаю одного Владислава – исключительно неприятный тип.

Я мысленно перебираю нашу издательскую тусовку, пытаюсь вспомнить неприятного Владислава. Ничего не приходит в голову, и я осведомляюсь:

– Тут, в Москве? Или у вас там, в Лондоне?

Она забавно морщится и отмахивается:

– Нет, ты его не знаешь. Он венгр.

– Я вообще ни одного венгра не знаю.

– Ну и слава богу. Поверь мне, ты ничего не потерял.

Так, болтая о какой-то ерунде, мы бредем обратно в офис. Дорога туда короткая – на мой вкус, слишком. Я не хочу возвращаться на работу, хотя задуманная съемка вызывает во мне известный трудовой энтузиазм и творческий зуд. Я просто не хочу расставаться с ней – не хочу, чтобы пропало это настроение, чтобы мы разошлись по своим кабинетам и снова стали только коллегами.

Хотя это, конечно, будет правильно.

Я взглядываю на часы. Мы обедали с ней всего-то два часа. И за эти два часа я стал другим человеком. Или так мне кажется. Словно я спал, а теперь проснулся – взбудораженный, озадаченный, смятенный и необъяснимо счастливый.

Все это как-то невероятно глупо, но одновременно необратимо и неизбежно. Как-то... правильно. О господи.

Дорогая редакция, как жить дальше?!

Катастрофа. Это был не обед, а самая настоящая катастрофа. Я сделала неправильно буквально ВСЕ, совершила все возможные ошибки. Держала себя в руках, нечего сказать!

Кто-то, кажется, собирался быть холодным, собранным и деловым? Контролировать свое неземное обаяние? Сделать так, чтобы он тебя зауважал, а не влюбился? Держаться от него на расстоянии кто-то планировал?! Да уж! Одно слово – успех, полный успех по всем фронтам.

Глупить я начала сразу – еще когда заказывала еду. Не хотела же вообще ничего в рот брать. Но он так заразительно, с таким явным удовольствием ест, что мне тоже захотелось чего-то... пожевать. Непрожаренный стейк с кровью. Кровавый кусок практически сырого мяса – это, конечно, то, что должно было меня отвлечь от опасных мыслей. Дура! Как будто я могу спокойно чувствовать на губах любимый вкус – и при этом не думать о других вещах, не испытывать другого голода, не смотреть на этого прекрасного юношу так, как не надо смотреть. Ясно же было, что мне только хуже станет: смотреть на его губы, реагировать на то, как он краснеет и бледнеет, а он много сегодня краснел и бледнел. Ох-ох-ох...

И у него были, конечно, для этого причины. Потому что я уже не знала удержу. Я и смеялась, и в глаза ему смотрела,

и за руки хватала, и слабость свою, видите ли, показывала. То есть делала все, что делать категорически противопоказано. Не просто дура – еще и гадина, потому что понимала, что вытворяю, и все равно не прекращала.

А он, видите ли, считает меня хрупкой.

О господи.

К концу обеда мы оба были уже хороши. Надеюсь только, что ему это было не так заметно про меня, как мне – про него. Как он на меня смотрел – как будто я чудо господне. Как смеялся, когда я наврала про возраст – с этим моим любимым жестом, чуточку разводя руками. Он думает, конечно, что я младше, чем сказала ему. Какие у него были глаза, когда он услышал, что нужен мне... Вот зачем я это сказала – так, как сказала? Обязательно было его дразнить? Что, совсем, совсем невозможно было удержаться?!

Но самое ужасное не только то, что я это все делала. Хуже то, что я наслаждалась каждой секундой. И хочу еще. Как люди говорят – аппетит приходит во время еды? Вот уж с чем не поспоришь.

Я снова сижу на своей прекрасной террасе в окружении вечерних теней, но чувство относительного мира с самой собой, которое владело мной вчера, теперь безвозвратно утеряно. Я сделала то, чего боялась, – я перешла грань. И теперь дороги назад уже нет. Не потому, что я не смогу остановиться – смогу, конечно. Мне не впервой приходится бороться с соблазнами, и куда более серьезными, чем желание завести

роман с симпатичным молодым человеком. Нет, я не смогу теперь повернуть назад, потому что это причинит ему боль. Я хорошо знаю силу своего обаяния. И я его сегодня не сдерживала. Теперь он мой – как жертва гипноза. Как наркоман, подсаженный на опасную дурь с одного укола. Если я теперь дам задний ход – отстранюсь, он будет страдать. Он сам еще об этом не знает, но я уже нанесла ему непоправимый вред. А я так не хочу причинять ему боль.

Проблема в том, что больно ему будет все равно – раньше или позже. Но я не хочу ранить его намеренно, грубо, сразу. Не хочу отвергнуть, ничего ему не дав. Как, опять же, говорят люди – «лучше любить и потерять, чем не любить вообще»? Верно. Он меня потеряет в конце концов – потому что я не умею любить, только желать. Но пусть хотя бы не сразу. Пусть побудет счастлив – немного. А потом, может быть, оно у него само пройдет? Никогда еще не проходило, правда, за все годы моей жизни ни один человек от меня не спасся, если уж я давала себе волю. Но он все-таки современный мужчина, и он молод. Может быть, ему повезет, и он сможет пережить катастрофу, ходящую по земле под моим именем. И мне повезет – его разбитое сердце не останется у меня на совести?

Или я говорю себе все это из крайнего, предельного эгоизма – потому что слишком жадная, слишком голодная и слишком увлечена, чтобы теперь от него отказаться? Что, в самом деле, может быть циничнее моих аргументов: неуже-

ли правда будет гуманнее помучить его подольше, чем убить одним коротким ударом? Добрее и порядочнее будет отнять у него нечто, к чему он привыкнет и будет уже считать своим, чем не дать то, о чем он пока только мечтает? Нет уж, надо быть честной – он заслуживает моей честности хотя бы с самой собой. Конечно, во мне говорят не благие побуждения, а голод. Мне так нравятся его восторженные глаза. Мне так хочется чувствовать себя живым человеком, а рядом с ним я – живая. И он так красив.

Мне остается только надеяться, что я просто слишком самоуверенна, и преувеличиваю свое обаяние. Что на самом деле ничего страшного не произошло. Но в глубине души я знаю, что это не так. О черт, черт, черт! Почему я так расслабилась?

Мне не сидится на месте – я мечусь по своей террасе, по квартире, хватаюсь за книги, чтобы тут же бросить, включаю телевизор и бессмысленно переключаю каналы. Я не нахожу себе занятия. На самом деле мне нельзя сейчас быть одной. Мне нужно чье-то общество, нужно с кем-то поделиться своими сложностями. И есть только один человек в мире, который может мне помочь. Вот только он, скорее всего, будет надо мной смеяться... И правильно сделает. Но выхода у меня нет.

Тяжело вздохнув, я набираю номер телефона.

– Привет. – Мне не нужно представляться – он знает мой голос очень хорошо.

– Привет, душа моя. – Его голос звучит мягко и чуточку иронично – словно он уже знает, из-за чего я звоню: чтобы поплакаться в жилетку. Неужели я правда не звоню ему, если у меня все хорошо?

Я закусываю губу:

– У меня есть некоторая... проблема. Я бы хотела поговорить.

За что я люблю Сережу – он никогда не задает лишних вопросов. В трубке слышится короткий смешок:

– Буду у тебя через десять минут.

Он не преувеличивает – я едва успеваю пригладить волосы, а он уже рядом со мной. Сидит в соседнем кресле, с коктейлем в руке – высокий, рыжеволосый, темноглазый и бледный, точно как я. Он мой лучший друг, но многие принимают его за моего брата. В каком-то смысле это правильно – у нас и правда больше общего, чем у многих кровных родственников.

Он выслушивает мой слегка истеричный рассказ не перебивая. В руке у него неизменная сигарета. Я не раз спрашивала его, как ему вообще удается курить. Он всегда смеется и объясняет, что не затягивается – ему просто нравится запах, и еще нравится зрелище собственной руки с сигаретой. Это чистое эстетство, и это так похоже на Сережу – Сержа, Серхио, как его только не звали за время нашей дружбы. Он – наверное, самое эстетски настроенное существо в мире.

Сегодня я ему очень ему благодарна за его эстетство: он

не смеется, потому что ценит в моей истории – и в моей истерике – красоту парадокса. Но он, однако, прекрасно понимает, что проблема моя имеет место быть. Он задумчиво смотрит на ночной город, стряхивает пепел и обращается ко мне, подняв бровь:

– Ну ты сама прекрасно знаешь – есть только один способ все это прекратить.

Я угрюмо киваю:

– Да. Исчезнуть. Уехать к чертовой матери, будто меня и не было – будто я ему померещилась. Тогда ему все равно будет больно. Но он, возможно, забудет.

– Верно. – Сережа улыбается. – Возможно, забудет. Хотя будем честны друг с другом – забыть тебя невозможно.

– Не дразни меня, чудовище!

Он пожимает плечами:

– Я не дразню – я просто констатирую факты. Нас невозможно забыть. Особенно после того, как мы кого-то поманили.

Я гневно сжимаю зубы – хочется рычать, но это будет все-таки слишком.

– О, спасибо тебе, дорогой друг, ты мне очень, очень помог.

– Не злись на меня – я просто голос твоего разума. Но я так же и твой друг, и я понимаю, что сложность в том, что уезжать ты не хочешь.

Он прав. Я не хочу срываться с этого места – и не толь-

ко из-за эгоистичных соображений и желаний, как бы сильны они ни были, – а, изложив их Сереже, я поняла, что они очень сильны. Мне в самом деле нравится моя работа, я хочу тут что-то сделать. Мне нравится это место, этот город, эти люди. Мне не хочется... убежать от себя.

Он внимательно следит за выражением моего лица. Он не может читать мысли – никто не может, это все сказки, мне ли не знать, что в мире возможно и невозможно. Но он так хорошо меня знает, что иногда кажется, что и слова не нужны. Потом делает неопределенный жест рукой, предлагая еще один путь:

– Я понимаю, что это тоже неприятная перспектива, но ты можешь его просто... отпугнуть.

– Как? Он смотрит на меня, как на игрушку с новогодней елки.

– Скажи ему правду. Или, хм, покажи.

– Ха! Он решит просто, что я сумасшедшая. И потом, столько лет хранить тайну, аккуратно строить свою жизнь – и пустить все это коту под хвост... Из-за чего?

– Из-за твоего желания не причинять ему боль. Пусть считает тебя сумасшедшей, но не бесчувственной – ты ведь этого боишься.

– Ты так говоришь, словно я боюсь, что он обо мне плохо подумает.

– А разве нет?

– Я боюсь объективного вреда, который я ему причиню.

Сереза снова пожимает плечами:

– Ну что ты с ним сделаешь? Не съешь же?

– Нет, конечно! – Как он может говорить такое!.. Это уж слишком.

Он удовлетворенно кивает:

– Ну это уже хорошо. Сама же знаешь, как часто эти вещи смешиваются. Но что тогда ты можешь ему сделать непоправимо плохого?

– Я разобью ему сердце.

– Это всего лишь обычное человеческое сердце.

Я отвечаю потеряннм шепотом:

– Не обычное сердце. Это его сердце.

Сереза меняет свою расслабленную позу, чтобы потянуться и похлопать меня по руке. Взгляд его становится озабоченным:

– Марина, душа моя... Я давно не видел тебя такой расстроенной из-за мужчины. Ты, кажется, всерьез к нему привязалась.

– Именно это я и пытаюсь тебе сказать!

Сереза надолго задумывается и закуривает очередную сигарету, с наслаждением принохиваясь к дыму. Потом смотрит на меня искоса:

– Но это ведь, в сущности, неплохо. Ты же знаешь, так бывает – даже такие, как мы, иногда испытывают любовь. В том случае, если нам встретился кто-то... особенный. Может быть?..

Я решительно трясую головой:

– Может быть, это тот самый случай? Не говори ерунды – ты прекрасно знаешь, что все это сказки. Просто побасенки, которые мы придумываем для того, чтобы не казаться уж полными, абсолютными монстрами. Ну в самом деле – назови хотя бы один случай, когда произошло нечто подобное?

Сережа ухмыляется и протягивает руку за коктейлем – мой вариант «Кровавой Мэри» ему тоже нравится. После паузы он говорит наконец – в голосе его слышен оттенок триумфа:

– Ну вообще-то, такой случай есть. Самый знаменитый случай, если уж на то пошло. Владислав и Минна. Никто не посмеет усомниться, что он ее любил.

Его слова заставляют меня поежиться, вспоминая нашего общего знакомого – его смертельно бледное, вытянутое лицо, черные волосы, гладко зачесанные назад, хищные красные губы и глаза – страшные, пустые, угольно-черные. Глаза человека, который знает и понимает только жестокость, который холоден и беспощаден, как никто на земле. Человека, который при слове «надежда» хохочет страшным, лающим смехом, – хотя никто не осмеливается в его присутствии говорить о подобных глупостях. Я знаю, что он не всегда был таким – что его сделала таким одна-единственная история любви, ради которой он пошел на все, ради которой убивал и сам чуть не умер и которая окончилась ничем: его возлюбленную у него отняли.

Сереза прав, конечно – прецедент был: такие, как мы, любят. Но эта аналогия никого не может утешить и приободрить. Я бросаю на него мрачный взгляд исподлобья:

– Отличный пример. Для нее эта история закончилась просто чудесно. Что с ней случилось – умерла через три месяца в сумасшедшем доме, верно?

Сереза кивает, признавая, что я верно помню все неприятные детали этой истории, но все равно считает нужным возразить:

– Время было другое. Им помешали. И он, конечно, омерзительный тип – возможно, это сказалось. Ну на том, как он подошел к решению сложных вопросов, как построил отношения с окружавшими ее людьми. Но я знаю совершенно точно – потому что мы с ним много общались одно время, как тебе известно, и кое-что он мне рассказывал... Я точно знаю, что он никогда не простит себе того, что не смог тогда до нее добраться. А он правда не мог – он буквально собирал себя по кускам, физически. А ее очень хорошо охраняли. Он просто не успел – к тому моменту, когда он наконец ее нашел, было уже поздно. И он до сих пор ее помнит. До сих пор любит. И, надо честно признать, характер его от этого лучше не становится. Ну это проклятье нашей природы – не только нас забыть невозможно, мы сами тоже ничего не забываем. И не прощаем.

Я угрюмо смотрю с террасы вниз – прямо под моим домом, через улицу, по которой ходят, вечно дребезжа, трам-

ваи, устроено кафе. На его открытой террасе сейчас, в этот жаркий летний вечер, сидят люди – пары, у которых свидание. Ну почему у некоторых все так просто, а я не могу даже кофе спокойно выпить? Мне приходит в голову новая мысль, и она тоже совсем невесела:

– Хорошо, я признаю, что у Владислава были объективные сложности. Но все равно – чего он, собственно, хотел, когда ухаживал за ней? Что он мог ей предложить?

– Сама знаешь – вечную любовь, естественно.

– Знаю. И помню, какой ценой.

В моем голосе звучит осуждение. Сережа смотрит на меня вопросительно:

– Ты считаешь, цена слишком высока? Вспомни – она ведь тоже его любила. Также хотела быть с ним... вечно.

Я отвечаю со всей определенностью и с большой горячностью – мы говорим сейчас о моем самом главном жизненном убеждении:

– Цена не просто высока – она неприемлема. Это только показывает, какой он негодяй, насколько у него не осталось никаких человеческих чувств – насколько их и не было, наверное, никогда. Я бы никогда не сделала ничего подобного. – Я останавливаюсь, чтобы перевести дух. – И не сделаю ничего подобного. Никогда.

Сережа качает головой, призывая меня задуматься:

– Марина, вспомни – она любила его. Она не могла его забыть и не могла без него жить. И именно это ее убило. Раз-

лука ее убила.

Мне становится страшно и одновременно как-то физически нехорошо.

– На что ты намекаешь?

– Ты сама прекрасно понимаешь. Если случилось то, что, как мне кажется, случилось... То, возможно, мы говорим сейчас не о разочаровании и разбитом сердце. Эти вещи бывают, когда мы просто проходим мимо, не увлекаясь по-настоящему сами – ну уж точно не до такой степени, как ты сейчас, не до угрызений совести и ночных терзаний. И ты бы видела мечтательное выражение на своем лице, когда ты говоришь о нем!.. Когда мы просто развлекаемся, люди всего лишь... страдают. Когда мы любим – они погибают. Ты же знаешь, как работают эти вещи: мы всегда вызываем ответное чувство – устоять перед нами невозможно. Но чем сильнее наше чувство, тем сильнее ответное. Если мы любим по-настоящему... Тогда уже ничего не поделаешь.

Я закрываю глаза. Передо мной стоит лицо Влада, его дерзкие светлые глаза, лохматые волосы, улыбчивый рот, вся его юность, очарование, вся его беззащитность. Все, что теперь, из-за меня, так или иначе обречено на гибель. На меня накатывает волна животного ужаса. Боже, что я наделала? Как такое допустила?

Я обхватываю себя за плечи – мне кажется, что я сейчас развалюсь на части, – медленно качаю головой и шепчу:

– Я его не люблю.

– Хммм...

Я распахиваю глаза, чтобы посмотреть в лицо Сережи – он выразительно поднимает бровь, и я повторяю, стремясь убедить прежде всего саму себя:

– Я его не люблю. И он не любит меня. Он в безопасности.

У моего лучшего друга очень грустный взгляд:

– Ты не властна над своим сердцем.

– У меня нет сердца!!! – Я кричу.

– Есть. Просто бьется очень медленно.

Он прав, конечно – это действительно так. И вопрос весь в том, что мне теперь с этим сердцем делать? Как удержать его, чтобы оно не погубило человека, навстречу которому так неосторожно рванулось?

Видя мое потерянное, перепуганное лицо, Сережа тянется ко мне и берет за руку. Он хочет меня чем-то утешить, но что он может сказать? Любые слова сейчас только подчеркнут непоправимость и огромность того, во что я вляпалась – и втянула ни в чем неповинного человека. Сережа останавливается на единственно возможном варианте – на спасительной лжи:

– На самом деле, скорее всего, я зря тебя пугаю. Все это мистика, сказки, романтические легенды. Минна была странной, психически неуравновешенной девушкой, и ее великая любовь – всего лишь тяжелый невроз. И Владислав просто придумал все это, чтобы придать своему образу хоть какой-то привлекательности: вроде как он не просто бессо-

вестный упырь, а несчастный страдалец, потерявший – погубивший – свою единственную возлюбленную. Ты права: мир сейчас другой, и твой Влад – нормальный молодой человек, не склонный к романтическим фантазиям и роковым страстям. И ты им просто увлеклась. Ничего страшного не случится. Тебе надо просто избавиться от искушения. А что говорил нам этот прелестный, остроумный ирландец, Оскар Уайльд? «Лучший способ избавиться от искушения – поддаться ему».

Я смотрю на Сережу с благодарностью за его попытку меня развеселить, но также и с недоумением и спрашиваю с нервным смешком:

– Что ты мне предлагаешь – плюнуть на все и просто соблазнить его?

– Я тебе предлагаю не ломать голову над вещами, которые ты не можешь изменить. Жизнь имеет свои законы, и нам они непонятны. Ты можешь быть осторожнее, или безрассуднее, но все равно все будет так, как будет. Возможно, во всем этом есть высший смысл. Зачем-то же вы встретились? Вот и наслаждайтесь этим подарком судьбы.

Меня коробит непринужденность, с которой он уже говорит про нас с Владом «вы» – словно мы уже вместе, уже пара, уже неделимы. Словно мое появление в его жизни уже изменило ее непоправимо, необратимо и навсегда.

Вероятно, так оно и есть, и мои метания смешны: снявши голову, по волосам не плачут. С другой стороны, возможно,

Сереза преувеличивает серьезность ситуации, и я тоже. Возможно, у меня просто истерика, и все дело яйца выеденного не стоит. Но в любом случае – как можно говорить об этом так... легко?

Я выдаю Серезе кривую улыбочку:

– Тебе легко рассуждать. Вот сейчас выйдешь от меня и встретишь на улице какую-нибудь... Минну, и всё – будешь в такой же кошмарной ситуации, как я.

Сереза встает с кресла быстрым, грациозным движением, ставит пустой стакан на широкий парапет террасы и берет меня за руку:

– Ну, единственное спасение от такой страшной перспективы – это взять тебя с собой. Когда ты рядом, я не вижу других женщин. Мне вообще не следовало выпускать тебя из виду так надолго – и ты бы не спуталась со своим Владом. Пойдем, прогуляемся. Нам надо развеяться и поесть – нельзя жить на одних коктейлях, – и нас ждет соблазнительный ночной город.

Он прав, конечно: и развеяться, и поесть нам необходимо.

Мы выходим из дома на ночной бульвар, и я бросаю еще один взгляд на влюбленные парочки, сидящие на террасе кафе. Весь ужас в том, что я очень легко представляю себе, что мы сидим тут с Владом – глядя друг другу в глаза, держась за руки. Как и положено влюбленным парам. Это было бы так правильно. Так естественно.

Так опасно.

Сережа уже вспоминал сегодня Уайльда и его афоризмы. Я тоже вспоминаю – но не шутки, а строку из «Баллады Реддингской тюрьмы»: «Любимых убивают все...»

Агент Купер повернул дрын – и ничего не произошло.

Когда я был еще мальчишкой, мы с отцом смотрели сериал «Твин Пикс», который с какого-то пня показывали глубокой ночью по нашему еще советскому, кажется, телевидению. И там был момент, когда агент Купер в поисках зловещего Боба все шел и шел по каким-то катакомбам и нашел там наконец какую-то палку, торчавшую из стены. Что-то вроде рычага. И повернул его. И это его выстраданное действие не оказало ни малейшего влияния на дальнейшее развитие событий. Ну то есть, возможно, Дэвид Линч, если его спросить, объяснит, что поворачивание этого рычага полностью определило мрачный финал истории, но в фактическом действии, в сюжете это никак не отразилось. Потому-то мой обескураженный отец и произнес историческую фразу, которая потом вошла в наш семейный обиход: «Агент Купер повернул дрын, и ничего не произошло».

Вот и я теперь пребываю в ситуации агента Купера. Или того дрына? Я перевернулся. Всё во мне изменилось. Но ничего не произошло. Все, что казалось мне во время того обеда с Мариной таким значительным и судьбоносным, кончилось ничем. Я ничего больше не сделал. Пошел на работу, долго курил перед монитором, все еще полный своей странной эйфории. Пошел домой и думал о ней – естественно.

Но к утру словно несколько... протрезвел. Взял себя в руки. Она ведь моя начальница. Люди не ведут себя с начальством так, как мне хотелось вести себя с ней. Они не мусорят там, где едят. И не заводят романов на работе. Особенно с начальством. Если они не идиоты, конечно. И хотя мне больше всего на свете хотелось следующим же утром снова позвать ее обедать, и снова видеть ее улыбки, и ловить ее прохладные пальцы, я не сделал ничего подобного. Я, конечно, идиот, но я не хотел ВЫГЛЯДЕТЬ идиотом. Так что я ничего больше не сделал – просто стал вести себя нормально и работать как следует. Именно этого она от меня, собственно, ждала и добивалась. И добилась.

Я ничего больше не сделал. И она ничего больше не сделала. Ну это-то как раз нормально – почему она должна была что-то делать, если я дурак и вообразил бог весть что? Она разумная и правильная женщина, живет своей жизнью, занимается своими делами. Поговорила с капризным сотрудником, убедила его работать нормально и забыла об этом. Я часто говорю сам себе эту фразу – дисциплина, аутотренинг, все такое. И каждый раз сам себя одергиваю: «О чем, тупица, „об этом“? Что ей было забывать? Что у тебя окончательно снесло крышу? Так это твоя проблема, не ее».

Точно – моя проблема. Моя проблема, что я не могу следовать своим же правильным решениям. Что невольно все время смотрю на нее – не так, как раньше, а словно выискивая в ее действиях какие-то тайные знаки. Какие-то... не до-

казательства, конечно, а скорее просто приметы того, что для нее это тоже что-то значило. Что она тоже что-то такое почувствовала там, за столиком в ресторане, в тени оранжевых занавесок, и теперь тоже... старается держать себя в руках? Избегает меня?

Кретин. Во-первых, она меня не избегает. Она внимательна, она включена в работу. Мы с ней каждый день торчим за моим компьютером, смотрим макеты. И мне лично это абсолютно не помогает. То есть она совершенно блестящий редактор, и глаз у нее – алмаз. Она точно знает, чего хочет, и иногда «видит» макет или съемку даже лучше, чем я. Но то, что я искренне восхищаюсь тем, как она работает, не облегчает мою жизнь. Мне было бы куда легче, если бы она была просто холодной, красивой и бездарной дрянью, какой я воображал ее вначале. То, что она холодная, красивая и талантливая, – это... несправедливо. Будь она не так, хм, совершенна, мне было бы легче.

Нет, она меня не избегает. Она просто ведет себя со мной абсолютно ровно – с симпатией, по-дружески, по-компанийски даже, как и со всеми остальными в редакции. Так, словно ничего не произошло. Ничего особенного.

Потому что, очевидно, для нее ничего особенного и не произошло.

Через пару дней после того обеда она сделала мне подарок. Я пришел утром на работу и обнаружил на своем столе новую кружку. Также с цитатой из сериала про доктора Ха-

уса – фразой Everybody lies. «Все лгут». Это любимая сказка главного героя. Она сделала так, как обещала тогда на кухне – эта кружка лучше прежней. И каждый раз, когда я пью из нее свою любимую бурду, я вижу эту фразу и думаю о Марине. Правильно, все люди лгут. Особенно – сами себе.

Потом она улетела в командировку – ее не было десять дней. Потом вернулась, и я до сих пор не могу простить себе подросткового нетерпения, с которым ее ждал, с самого утра думал, что вот сегодня я приду на работу – и она будет там. Честное слово, когда ее нет в офисе, тут все какое-то другое. Неправильное. Унылое. Поверить невозможно, что когда-то ее здесь не было. Что когда-то мне казалось, что она нам не подходит.

Она вернулась – такая же красивая, корректная и невозмутимая, как всегда. Хотя я вру – красивее, она была еще красивее, чем я ее себе представлял по памяти. Посмотрела на меня своими вишневыми глазами – я лъщу себе мыслью, что она не отрывала взгляда чуть дольше, чем стоило бы, и спросила: «Ну как ты тут без меня?»

Мне хотелось честно взвыть: «Паршиво!» Но я, конечно, сказал, что все отлично. Потому что она говорила о работе, а не о чем-то, что происходит только в моей голове. Она кивнула, улыбнулась и занялась делами.

И с тех пор я живу, как дрын агента Купера. Я знаю, что ничего не предпринимать – правильно. Но это как-то невыносимо печально. Особенно потому, что она не дает мне ни-

каких поводов что-либо предпринять. Она живет своей жизнью. Ходит на встречи. В свет выходит – в основном с этим своим Сережей Холодовым, жутко влиятельным газетным арт-критиком, который, оказывается, ее старинный друг. Когда я вижу, как он встречает ее с работы – высокий, рыжий, лениво-расслабленный, он спокойно берет ее за руку, и она не отнимает пальцев, смеется, и они куда-то вместе идут... В такие моменты мне хочется, как персонажу мелодрамы, сделать что-нибудь эффектное и бессмысленное – например, кулаком по стене ударить. Детский сад какой-то, честное слово.

Нет, ну я не маленький, конечно. Я не провожу ночи, обнимая залитую слезами подушку. Я честно решил, увидев этого Холодова и то, как прелестно они друг с другом общаются, что нужно перестать маяться дурыю и начать жить. Извлек на свет божий призраков бывших подружек – Любу, в частности: она девушка легкомысленная, с ней можно общаться, не рискуя вызвать серьезных чувств. Никакой ответственности – чего еще можно желать от жизни? Но... откуда это фраза – «кофий пил без всякого удовольствия»? Не помню, да и не суть важно. Важно, что Люба меня не отвлекла. Когда я ее целовал, передо мной стояло другое лицо. Я смотрел в другие глаза и воображал себе другие губы. А в такой ситуации невозможно общаться с хорошей девушкой, с девушкой, которую не хочется обижать и с которой неприятно ощущать себя подлецом. Короче, с Любой не получилось. Да

и не могло. Она отличная девушка. Просто я изменился. Интересно – люди всегда говорят, «изменился к лучшему». Или к худшему. А это глупо. Можно просто измениться. Стать не хуже, и не лучше – просто другим. Как в этой дурацкой спамерской рекламе про то, что можно, отправив куда-то там СМС за бешеные деньги, определить местонахождение человека по номеру его мобильного: «Ты знаешь, где теперь твой парень? А что, если он другой?» Опечатка, конечно – они хотели написать «С» другой. Но опечатка по Фрейду – для меня, по крайней мере.

На дворе меж тем уже совсем осень. Дни стали короткими, и все время пасмурно. Спасибо, что снега пока нету – хотя вполне мог бы идти, уже ноябрь. Может, опять будет противная сухая, серая и бесснежная зима, как в прошлом году. Гадость. Я стою во дворе конторы – в наш офис надо входить со двора, через арку, – и курю возле чахлой елки в кадке, которая зимой и летом украшает нашу стоянку. Хоть бы наряжали ее на Новый год, что ли... Я обедал один, и мне тошно идти внутрь. Что я там делать буду? Опять же курить, пить бурду и пялиться в монитор. И хотеть спать. Очень печально, что желание спать преследует меня только на работе – дома, ночью оно куда-то пропадает, и я сижу до трех утра, бессмысленно переключая каналы, пока везде, кроме MTV и «Магазина на диване», не появляется разноцветная картинка настройки.

Вообще, может, у меня просто депрессия? Надо витами-

нов попить, что ли...

Я выбрасываю окурок – целюсь в урну, как обычно, промахиваюсь и наблюдаю за тем, как он дугой летит в угол за припаркованным там мотоциклом нашего директора по производству. И немедленно закуриваю следующую сигарету. Курить, наверное, надо меньше. Но кому какая разница? Я прикрываю зажигалку ладонью – во дворе, конечно, гуляет ветер. И, поднимая глаза от пламени, вижу ее.

Она выходит из арки и идет ко мне – поправка, ко входу в здание – легкой, словно танцующей походкой. Эта женщина равнодушна к холоду: она все в тех же летних разноцветных кедах, узких джинсах и короткой курточке – правда, с черным меховым воротником. Он сейчас поднят, и по контрасту со скучным цветом меха все разнообразие темных оттенков в ее волосах как-то особенно заметно – даже сейчас, под этим серым небом. Она такая... веселая. Глаза так и блестят. Она несет в руке прозрачный пластиковый чехол с длинным вечерним платьем.

О господи, нет. Я совсем забыл про сегодняшнее мероприятие. Черт! У нас же сегодня торжественная церемония – мы представляем очередной номер, но не просто так, а при большом скоплении рекламного и светского народа. Церемония вручения премии журнала Alfa Male самым стильным людям года. Мы для такого дела даже театр Et Cetera у Чистых прудов арендуем (исключительного уродства здание, между прочим). Я сам делал дизайн приглашений. И на них

стояла, естественно, дата – сегодняшнее число! КАК я мог забыть?

Марина уже рядом со мной – она улыбается мне снизу вверх. Когда она стоит так близко от меня, я отчетливо осознаю вдруг, что она очень маленькая и хрупкая. Но она не часто оказывается так близко. Она кивает на свою ношу:

– Вот – забрала любимое платье из химчистки.

Я, честно говоря, несколько озадачен:

– Ты что, прямо из офиса поедешь? А как же марафет наводить?

Она пожимает плечами и смешно морщит нос:

– А чего стараться? Как говорит одна моя мудрая пожилая знакомая – «Кому ты хочешь там понравиться?» Ради этой толпы уродов можно не напрягаться. Переоденусь, причешусь и пойду.

Она права, конечно, ЕЙ совершенно необязательно прилагать какие-либо специальные усилия, чтобы выглядеть в сто раз красивее любой женщины в любом зале.

Она продолжает:

– Я бы и вечернее платье с удовольствием не надевала, но Хэмилтон этого не поймет. Он хочет, чтобы все было безупречно.

Хэмилтон – Грант Хэмилтон – это наш лондонский владелец, ее старинный друг. Ну это, как обычно – у нее все, кажется, старинные друзья. Хэмилтон – огромный, двухметровый примерно красавец блондин, практически не снима-

ющий темных очков, и он второй после Сережи Холодова персонаж в моем черном списке гадов, с которыми Марина охотно и непринужденно проводит время. Обычно, слава богу, не при мне – а там у себя в Лондоне, куда ей так часто нужно по делам. Но сегодня, конечно, он здесь – приперся специально на наше мероприятие, и привез с собой свою не то жену, не то подругу, высоченную тощую модель с бледной физиономией и заторможенным выражением лица – она, наверное, питается одним кокаином. С утра Хэмилтон прошелся по офису, пожимая всем руки, – у него, кстати, очень крепкое рукопожатие и очень холодные ладони, даже оторопь иногда берет. Сегодня он был ко мне особенно внимателен – очевидно, Марина ему рассказывала, что я сначала вел себя как саботажник, и теперь он присматривается: хорошо ли я работаю.

А я забыл про чертову вечеринку!

Хэмилтону страшно не понравится, если арт-директор Alfa Male явится на церемонию вручения призов хорошо одетым мужчинам в линялых джинсах и стоптанных кроссовках. И, похоже, эта мысль приходит в голову и Марине. Она смотрит на меня вопросительно:

– А ты? Собирался домой – переодеваться? – Она наигранно-печально вздыхает: – Ну что за мужчины нынче пошли – относятся к себе трепетнее, чем женщины. Метросексуалы!

Я понимаю, что она шутит, но мне все равно стыдно, и я

поспешно начинаю оправдываться:

– Я не метросексуал, я просто debil. Ты можешь поверить, что я начисто забыл, что тусня у нас сегодня? Меня даже прибытие Хэмилтона в офис не привело в чувство. Вспомнил, только когда увидел твое платье.

Марина прыскает со смеху и сразу становится совершеннейшей девчонкой. У меня в груди что-то болезненно сжимается.

Я люблю ее смех.

Я пожимаю плечами:

– Будем надеяться, что наши мальчишки-стилисты еще не все содержимое модной кладовки на себя напялили и мне хоть что-то останется.

Модная кладовка – это комната, куда мы складываем вещи, которые берем на съемки. Что-то остается там навсегда: на моделях вечно что-нибудь пачкается и рвется, магазины это обратно не берут, и разнообразные дизайнерские джинсы и пиджаки превращаются в стратегический запас нарядной одежды как раз на такой, как сегодня, форс-мажорный случай.

Глаза у Марины неожиданно загораются энтузиазмом:

– Ой, пойдем быстрее посмотрим! Я хочу тебе что-нибудь выбрать сама.

О нет, только не это. Этого мне как раз не хватало: перебирать магазинные рубашки и брюки при ней – под ее взглядом, в тесной закрытой комнате. Но что я могу ей возразить?

Я выбрасываю давно уже погасшую сигарету – я вообще забыл, что курил, – и следую за ней в здание.

В мгновение ока мы оказываемся на пороге кладовки. Она бросает на набитую вешалку и кучу сваленной в углу на столе одежды критический взгляд:

– Негусто. Но... – Она делает по комнате буквально три точно рассчитанных шага и извлекает из тряпочной массы темные джинсы, светло-серую рубашку и черный замшевый пиджак. Слегка нахмурившись, она добавляет к ним узкий шерстяной галстук – где она вообще его углядела? Потом она задумчиво кивает головой, и поворачивается ко мне: – Вот. Это, конечно, далеко не вечерний костюм, но ты же у нас художник – тебе положено быть эксцентричным. Долой тупые смокинги! Мы им покажем новую вечернюю мужскую моду от Влада Потоцкого. Ой, ботинки забыла... Вот, возьми вот эти замшевые, к пиджаку. Марш в свой кабинет и примерь все это. Я хочу посмотреть, что у меня получилось.

Я повинуюсь, чувствуя себя маленьким мальчиком под суровым материнским взглядом. Ну да, мне четыре года, у меня нет ни прав, ни собственного достоинства... Иду, правда, не в кабинет, а в туалет – я все-таки хотел бы узреть себя в зеркале, перед тем как позориться перед ней.

Она выбрала хорошие вещи – они радикально разные, но каким-то образом сочетаются друг с другом. Это меня совершенно не удивляет. Мне интересно другое. Размер штанов и пиджака она, допустим, на глаз определила. Но как она

угадала размер ботинок?

Я повязываю галстук и несколько секунд смотрю на себя в зеркало. Я собой недоволен. У меня идиотский вид – не из-за вещей, с ними-то все в порядке. Но выражение моего лица – потерянное, глупое и какое-то обиженное – оставляет желать много лучшего. Умыться, что ли? Если бы мое дерьмовое моральное состояние можно было просто смыть с физиономии...

Плеснув себе водой в лицо, я решительно выхожу к Марине. Она ждет там же, в кладовке, пританцовывая от нетерпения. При виде меня она удовлетворенно кивает:

– Да! Хотя... Подойди ко мне.

Я понятия не имею, что она хочет сделать, и потому она застает меня врасплох.

Она поднимается на цыпочки и запускает пальцы в мои волосы, приводя их, очевидно, в еще больший, чем обычно, беспорядок. Ну да – ей же нравится, когда они растрепаны. Она об этом говорила... Или я это придумал?

Я чувствую ее прохладные пальцы на своей коже, смотрю прямо в ее темные глаза – она приблизила свое лицо вплотную к моему. Я вижу ее ресницы – они такие длинные, и одна зацепилась за другую. Я чувствую аромат ее волос – этот запах, как и их цвет, ни на что не похож и словами неопишуем.

Я забыл, как люди дышат.

Мне хочется зажмуриться – я не могу сейчас смотреть ей в глаза. Она увидит в моем взгляде то, чего я не должен ей

показывать.

И я не могу – потому что я не хочу пропустить ни единой секунды, когда мне можно смотреть на нее вот так, близко-близко. Я хочу стоять с ней так долго. Всегда. Я хочу запустить руки в ее волосы, и сжать ее лицо в ладонях, и узнать, прохладные ли у нее щеки: мне почему-то кажется, что да, такие же, как руки. Она такая бледная – словно Снегурочка. Кажется, что должна быть и холодная. Я так хочу это проверить.

Но мои руки безвольно опущены вдоль тела, и я чувствую, что они дрожат. Стыд какой. Если бы я мог провалиться под землю – или хотя бы оторвать от нее взгляд, спрятать глаза, чтобы она не видела моего потрясения, не была свидетельницей моего позора – не так близко, не во всех унижительных подробностях. Но я не могу.

Но она еще не закончила свою пытку. Ее руки оставляют в покое мои волосы, она опускает их вниз, ослабляет слегка узел галстука и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Я чувствую ее пальцы на своей шее – мимолетное, быстрое прикосновение, от которого мои ноги становятся ватными, а джинсы... очень тесными. А потом она опускает руки на пояс моих брюк и вытаскивает наружу край рубашки.

Я слышу, как у меня перехватывает дыхание.

Господи, пошли мне мгновенную, легкую смерть. Прямо сейчас.

Зачем она это делает? Неужели она не понимает, ЧТО она

делает?

Она отступает на шаг назад, смотрит на меня и ласково улыбается.

Как так может быть, что один человек готов сдохнуть от возбуждения, а второй улыбается, как будто ровным счетом ничего не происходит?

Она улыбается шире:

– Ну вот – теперь ты просто совершенство. Настоящий Alfa Male, как он есть.

Это уже слишком. Я закрываю глаза. Если умереть у меня сейчас не получится, так я хотя бы спрячусь от ее взгляда. Но с закрытыми глазами все еще хуже – в темноте я только четче осознаю ее близость. И ее холод, от которого меня бросает в жар.

Я снова смотрю на нее. Она уже не улыбается – у нее какое-то странное, непонятное мне выражение лица. Словно она смотрит не на меня, а в какую-то темную и далекую точку, и видит там что-то свое. А потом она выпускает маленький легкий вздох и коротко кивает, словно приняв какое-то решение, и говорит с очередной из своих полуулыбок:

– Ты как собирался добираться до театра?

Откуда у меня берется голос, чтобы ответить? Но я все-таки ухитряюсь пробормотать:

– Никак не собирался. Я ведь забыл про вечеринку. Но тут же можно пешком дойти.

Марина говорит решительно:

– Глупости – арт-директора пешком на такие вечеринки не ходят. Поедешь со мной. Мы должны приехать вместе – это будет правильно.

Я киваю – голос меня снова покинул. Такая красивая и хрупкая на вид женщина – а на самом деле она настоящий монстр. Как я выдержу поездку в машине? Специально она, что ли, надо мной издевается?

Она тоже кивает – с чувством глубокого удовлетворения от созерцания дела рук своих: моего костюма, прически и, надо думать, перевернутого лица. И уходит.

Я возвращаюсь на свое рабочее место как зомби. До выезда на наше мероприятие остался какой-то час – переодеться уже нет смысла. Да и как я могу, когда она сама меня уже высочайше одобрила и даже причесала? Работать я не могу – я просто не вижу, что у меня на экране компьютера. Мне остается только закурить очередную сигарету – руки до сих пор предательски дрожат – и сделать вид, что я с глубоким вниманием изучаю сигнал свежего номера, который лежит у меня на столе с утра. Это тот самый номер, куда мы поставили съемку с безголовыми манекенами, которую она с таким восторгом придумывала во время нашего обеда.

Номер открывается как раз на втором развороте этой съемки. Один из наших манекенов стоит у обшарпанной кирпичной стены, повернувшись к ней спиной – он явно собирается драться с двумя другими манекенами, которые «подошли» к нему справа и слева. Намек, понимаете ли,

на уличную агрессию – часть настоящей мужской жизни, о которой, как я думаю, наши читатели не имеют ни малейшего представления: по статистике нас читают в основном женщины и гомосексуалисты. Я смотрю на фотографию, и на секунду мне кажется, что зрение мне изменяет.

Манекен у стены – тот, который потенциальная жертва, тот, что должен защищаться, – одет точно так же, как я сейчас.

Марина одела меня, как манекен из нашей съемки.

Ей понравилась эта съемка. Она сказала, лукаво улыбаясь, что я угадал. Она хотела увидеть на наших страницах мужчину своей мечты – и увидела: я одел наши манекены правильно.

А теперь она одела в эти вещи меня и хочет ехать со мной в одной машине.

Хочет быть этим вечером со мной?

Во рту у меня пересохло.

Я знаю, как называется ослепительное чувство, которое заставляет мое сердце биться так, будто оно вот-вот выломится из груди. Надежда.

Глупая, бестолковая, подростковая, мучительная – но все-таки надежда.

6

Когда примешь решение, даже глупое и неправильное, жить сразу становится легче. Да, ты понимаешь, что у твоего решения будут последствия, что это не конец тревогам, а начало проблем. Но это почему-то лучше и проще, чем терзаться сомнениями. Сомнения выматывают. Принятие решения дает силы – даже для того, чтобы нести потом за него ответственность. Решение, даже тяжелое, приносит с собой некое подобие эйфории.

Именно поэтому теперь, сидя на заднем сиденье своей служебной машины, увозящей нас в ночь после утомительного светского вечера, чувствуя рядом с собой теплое плечо Влада, видя боковым зрением его напряженный профиль и чуть дрожащую руку, которую он скованно положил на колесо, я чувствую себя радостно. Мне хорошо, потому что я приняла решение. Моя совесть молчит. У нее еще будет шанс меня помучить, но не сейчас. Сейчас мне не до совести.

Удивительно, что я продержалась так долго. Так долго не уступала желанию – я, кого природа снабдила инстинктом мгновенно удовлетворять свои нужды, утолять свой голод. Несколько месяцев я не давала себе воли – это просто чудеса выдержки. Конечно, я очень старалась, и Сережа помогал – отвлекал и развлекал меня, как мог. Но мне с каждым днем становилось все яснее, что я сдамся. Я слишком эгоистич-

на, слишком привыкла получать то, что хочу. Или кого хочу. И тот, кого я хочу, слишком мне нравится. Это наваждение какое-то – сегодня, на этом вечере, было много красивых людей: мы их собрали, чтобы вручить призы именно за красоту. Но он, высокий, смурной, чуточку сутулый, лохматый, и одетый благодаря моим усилиям с такой тщательной небрежностью, и такой необъяснимо грациозный, затмил для меня всех. Ни один мужчина там и в подметки ему не годился. Несколько раз за вечер мне хотелось отбросить приличия и начать целовать его – прямо там, при всех этих людях, под ироничным взглядом Гранта Хэмилтона, который все прекрасно понимает и очень от этого веселится. Был один момент, когда Влад сидел на одном из низких красных диванов, которыми мы для удобства гостей обставили фойе, и тянул какой-то коктейль через соломинку, и вдруг бросил на меня взгляд искоса... Я едва удержалась. Мое терпение на исходе. Я не могу больше отказывать себе в том, чего хочу. Что мне жизненно необходимо.

Но дело не только в этом – не только в слабости моей воли. Дело в том, что я с каждым днем видела: мое самоотречение не приносит никакой пользы. Оно бессмысленно, потому что мое старательно разыгранное равнодушие не помогает Владу отвлечься, забыть, переключиться на что-то другое. Сколько бы я его ни избегала, он все равно думает обо мне. Мне не удастся его отпустить – слишком поздно. Возможно, уже в момент нашей первой встречи все решилось,

и у него – и у меня – вообще не было шанса избежать всего этого? Нет, моя холодность не приносила пользы – она только заставляла его страдать.

Сегодня, когда я шла к нему по двору, у него были такие несчастные глаза. Они растеряли всю свою дерзость – теряли ее на протяжении всех этих месяцев, пока он тоскливо следил за мной взглядом, и печаль в них все копилась и копилась. И теперь в его глазах плескалось целое море тоски. И тогда я решилась. Я не буду его больше спасать – не буду мучить. Не буду продолжать сознательно и намеренно причинять ему боль. Я возьму его. И дам ему все, что смогу дать. А я могу дать ему так много.

Я не буду сейчас думать о последствиях. Что толку о них думать? Они неизбежны. Но они будут... потом, и кто знает наперед, какие они? То, что было раньше, было не с ним и не со мной. Мы – другие. У нас может получиться что-то хорошее, особенно если я буду разумна и осторожна, а я буду: у меня есть и опыт, и выдержка, и главное – стремление его защитить, уберечь от беды. Что бы ни было, будет потом. Сейчас я думаю только об одном: мне не нужно больше сдерживаться. Ему не нужно больше страдать. Сегодня, нынешним вечером, я смогу сделать его счастливым. Да, это самое важное. Не то, что я получу желаемое, а то, что ОН будет счастлив.

Какие странные, непривычные для меня соображения и чувства...

Он боится смотреть на меня – не доверяет себе. Он не решается надеяться. Дурачок. Какие у него были глаза, когда я прикоснулась к его волосам, – сколько в них было потрясения, томления... И гнева. Он сердился на меня – думал, что я его дразню. Как он зажмурился, пытаюсь от меня отгородиться, и с какой паникой снова открыл веки и отдался на мою милость. Как он дрожал, когда я расстегивала его рубашку. Как прерывисто дышал и как стремительно побледнел... Мой ослепительный мальчик. Он в самом деле не понимает, как сильно мне нужен.

Я поворачиваю к нему лицо и улыбаюсь. Он немедленно реагирует: смотрит на меня. На его губах тоже появляется некое подобие улыбки – робкой, неуверенной. Он не знает, чего от меня ждать. Он стесняется моего водителя.

Я нажимаю на кнопку, чтобы поднять перегородку, отделяющую нас от шофера. Она ползет вверх бесшумно и, по моим ощущениям, слишком медленно. А потом мы оказываемся вдвоем в полутемной машине, невидимые для мира – с поднятым экраном, за тонированными стеклами. Его рука все еще лежит у него на колене, и я беру ее в свою. У Влада снова перехватывает дыхание – этот звук похож на маленький стон. Он не может его контролировать, он даже не сознает, что я его слышу. А я так люблю этот звук, он так меня возбуждает. Казалось бы, что мне от сознания, что он меня хочет? Я должна бы привыкнуть к такой реакции со стороны людей. Но для меня это так важно – в ответ

на его тихий вздох меня пронзает короткая, горячая вспышка желаний. Как если бы кровь прилила к сердцу. Я сама состою из одних желаний – такова моя натура. И ничто в мире не доставляет мне большего удовольствия, чем ответное желание. Чувствовать его, ощущать физически для меня куда важнее, чем даже удовлетворять свои прихоти.

Я сжимаю его пальцы, и он закрывает глаза. Как легко его взволновать. Может ли быть, чтобы он так же остро чувствовал меня, как я его? Я не хочу больше сдерживаться – его реакции нужны мне, они меня согревают – в буквальном смысле слова. Я глажу пальцами его запястье – в том месте, где сильнее всего ощущается пульс, там, где люди обычно режут вены. Снова мой любимый вздох. Все еще не открывая глаз, он тихонько качает головой – то ли безмолвно возражает мне, то ли старается стряхнуть наваждение. Я отпускаю его руку и кладу пальцы ему на бедро.

Он резко вскидывает голову, его глаза распахиваются, и в них вся та же смесь возбуждения, гнева и боли, которые мне так лестны. Ему явно требуется усилие, чтобы заговорить, и голос его не очень хорошо слышится:

– Марина, что ты делаешь?

Это не грубость, не попытка меня остановить. Он в самом деле глубоко растерян. Я его понимаю: после того, как я с ним все это время держалась, мое поведение наверняка обескураживает.

Я отвечаю мягко:

– То, чего хочу. То, чего мне давно хотелось.

Он болезненно хмурится:

– Зачем ты так со мной?.. – Он огорченно замолкает.

– Что? – Я так хочу его утешить!

Он собирается с силами и говорит с горечью:

– Ты со мной играешь. Зачем? Я сам виноват – я веду себя как полный идиот, я и правда жалок. Я понимаю – ты не могла, конечно, не заметить, что со мной творится. Это моя проблема, и я не хотел тебя ею беспокоить. Но ты знаешь – ты не можешь не знать, что со мной делаешь. – Он пожимает плечами, невесело улыбается и повторяет: – Ты не можешь не знать. У меня все на лбу написано. И я понимаю, что тебе все равно. Это нормально – это в порядке вещей, со всеми бывает. Так зачем ты теперь это делаешь? Ты издеваешься, или дразнишь меня, или пожалеть решила?..

Он закусывает губу, явно раздосадованный своей неожиданной откровенностью. Он не собирался говорить так много, не собирался так раскрываться – но я уже заметила, что рядом со мной он всегда говорит, не подумав, и жалеет об этом, и злится на себя. Я нахожу это невероятно трогательным. Но я несколько обижена тем, что он не верит ни в себя, ни в мою искренность. Впрочем, я сама виновата – слишком хорошо себя контролировала. Конечно, в моих сегодняшних действиях ему видится подвох. Но как он мог не заметить, что нравится мне? И как может думать, что я стану над ним издеваться?

Я кладу пальцы на его щеку, заставляя повернуться к себе. Какие у него все-таки глаза невероятные! И в них снова есть не только боль, но и дерзость – он на меня сердится. Я смотрю на него пристально – мне нужно его убедить, потому что, пока он мне не поверит, ему будет больно. А когда больно ему – больно мне.

– Влад... Ты говоришь глупости. Я не играю. И жалость тут ни при чем. Неужели ты не видишь – не понимаешь? Или ты был слишком занят тем, что происходит с тобой, чтобы заметить, что происходит со мной? Так, для справки: все то же самое.

Он прикрывает на секунду глаза и снова качает головой, отрицая мои слова:

– Этого не может быть.

Но даже говоря это, он непроизвольно прижимается к моей ладони щекой, инстинктивно ищет ласки, в возможность которой еще не поверил. Я пользуюсь моментом – провожу пальцем по его угольной брови, погружаю руку в непослушные волосы... На его виске бьется жилка. Он такой... теплый. Такой живой. Кровь под его кожей так горяча.

Теперь уже моя очередь коротко вздохнуть:

– Ты не представляешь, как давно мне этого хотелось.

Он чуточку поворачивает голову и целует мою ладонь. И шепчет снова:

– Не может быть. – Еще один поцелуй. – Я сплю.

– Я тебе снилась? – Надо же – он мечтал обо мне даже

во сне. Мне должно быть стыдно той жаркой волны удовольствия, которая настигает меня от одной этой мысли, но мне слишком хорошо, чтобы растрачивать силы на стыд.

Он вскидывает на меня глаза и пытается изобразить улыбку:

– Когда мне удавалось заснуть... Да.

У него и правда измученный вид – под глазами тени. Я ощущаю новый укол совести – я так долго его терзала, борясь с неизбежным. А разве я стою его бессонных ночей? Я поднимаю руку, чтобы коснуться его губ. Мои пальцы дрожат. Его губы – тоже.

Мой голос опускается до шепота:

– Ты не будешь больше страдать.

Он смотрит на меня очень серьезно:

– Почему-то я тебе не верю.

Влад, Влад... Ты куда мудрее, чем положено быть человеку, особенно столь молодому. Ты понимаешь – чувствуешь, – что от меня добра не будет. Но ты не прав. Я сделаю так, что ты БУДЕШЬ не прав. Я так хочу дать тебе радость.

Так же глядя ему в глаза, я отвечаю:

– Верь.

Он кивает:

– А что мне еще остается?

Машина давно уже остановилась – дорога от театра, где проходила наша вечеринка, до моего дома очень короткая. Вышколенный шофер – личный водитель Хэмилтона, при-

вычный ко всему, – деликатно молчит за поднятой перегородкой. Изначально – официально – план был такой, что он отвезет домой меня, а потом уже Влада: он живет, что характерно, совсем рядом со мной, в тихом переулке у Садового кольца. Я должна теперь его отпустить. Но я не могу – теперь, когда я наконец позволила себе к нему прикоснуться, я не могу от него отказаться. Я не хочу ощутить на месте его тепла пустоту.

Влад тоже почувствовал наконец, что мы стоим. Он опускает глаза, и у него неожиданно становится невероятно смущенный вид. Он выглядит совершеннейшим мальчишкой, когда, держа мои руки в своих, говорит со вздохом, чуточку хмурясь:

– Марина... Я сейчас буду выглядеть законченным козлом и придурком, но молчать – выше моих сил. – Он поднимает на меня взгляд, и я вижу его смятение, его полностью открытую навстречу мне душу и его жажду, которая, кажется, не уступает моей. – Я очень хочу тебя поцеловать. Но я не могу сделать это в твоей служебной машине...

Я улыбаюсь:

– Проблема легко решается. Мы стоим у моего подъезда. Пойдем.

– Я не могу... Получится, что я к тебе напросился. Это довольно унижительно.

– Не говори ерунды, ладно? Это я тебя прошу. – Я быстро провожу кончиками пальцев по его щеке и говорю правду: –

Я не могу сейчас тебя отпустить.

Он снова опускает глаза и говорит с коротким смешком:

– Это хорошо. Потому что я бы не смог уйти.

Я отпускаю водителя, и мы с Владом идем молча по темному двору к моему подъезду. В синем свете горящего на крыльце фонаря он останавливается на секунду, держа меня за руку, но ничего не говорит – просто смотрит в глаза и опять качает головой, как в машине, словно пытаюсь очнуться. Я не знаю, что он видит сейчас на моем лице. Надеюсь, что-то хорошее, а не только голод, который меня душит. Мне не хочется быть в его глазах хищницей. Я хочу быть в его глазах... человеком. Женщиной, которая влюблена.

Не надо, не надо мне говорить этих слов. Даже самой себе. Тем более – ему.

Я отпираю дверь магнитным ключом и вызываю лифт. На верхний этаж мы едем тоже молча, даже не прикасаясь друг к другу, стоя у противоположных стен кабинки. Я не могу оторвать от него глаз. Воздух вокруг меня звенит и поет.

Он МОЙ. Или скоро будет моим. Это так глупо, так опасно и так прекрасно.

В моей квартире всегда горит мягкий ночной свет – я не люблю, входя в комнату, обременять себя возней с выключателем. Мы стоим в полумраке прихожей, и я с удовольствием отмечаю, что Влад справился наконец со своим смущением. Его прекрасное лицо спокойно и серьезно – словно

он осознал, что находится здесь по праву.

Секунду он стоит, просто глядя на меня в сумраке. Я смотрю на него снизу вверх – он настолько выше меня... Он делает шаг вперед, и он рядом со мной. Он нежно, аккуратно, словно боясь сломать, берет мое лицо в ладони. Улыбается чему-то внутри себя, какой-то тайной мысли, и говорит с протяжным вздохом:

– Моя Снегурочка.

А потом – наконец! – я чувствую на своих губах его губы.

И я не могу дышать. Не вижу ничего, кроме него – света его глаз, ласковой тьмы его волос. Не чувствую ничего, кроме его тепла, его запаха, его кожи и быстрого, сбитого ритма его сердца. Не слышу ничего, кроме его дыхания – его коротких, на стоны похожих вздохов. И я не хочу ничего видеть, чувствовать и слышать – ничего, кроме него. Я не хочу дышать без него. Я не хочу жить без него.

Я люблю его.

Я произношу эти слова про себя – признаю для себя их абсолютную, необратимую правду. И мне кажется, что я слышу где-то в глубинах мироздания глухой рокот: природа стонет, стонет так же, как когда встречаются друг с другом грозные тучи, ломаются пласты земной коры во время землетрясения и сходят с орбиты планеты. Случилось то, чего не может и должно было быть. То, чего не исправить.

Я люблю его.

Я убью его.

Если бы я могла плакать, я бы затопила мир слезами. Если бы я могла умереть, я бы умерла. Если бы я могла остановиться... Но я не могу.

Он целует меня, и вокруг нас рушатся и возникают из праха целые миры. Они должны сокрушить нас. Но я им не позволю. Никакая сила в мире не отнимет у меня человека, которого я люблю. Даже я сама.

Пусть они падают вокруг нас, эти обломки чужих миров. Они сложатся снова – в новый, иной, наш собственный рисунок, и в центре его будем мы.

Он целует меня, и вокруг нас возникает наш собственный мир. Своя Вселенная. В ней светит мое личное Солнце. И я никому не дам его погасить.

Я просыпаюсь в сумеречном свете раннего утра.

Мне холодно.

Как это часто бывает спросонья, несколько секунд я не могу сообразить, где я, – не помню, что со мной происходило. Видно, я очень крепко спал – в последнее время со мной это случается редко, неудивительно, что у меня в голове такой туман.

Я лежу с закрытыми глазами, стараясь привести мысли в порядок. Мне снилось сегодня ночью что-то невероятное, невероятное и несбыточное. Но, что особенно странно, чрезвычайно реальное. Мое тело чувствует себя так, словно мой сон не был сном: оно устало, его словно бы ломит, будто мои кости расплавили, а затем отлили заново. Но в то же время мне как-то легко. Это ощущение реальности меня, честно говоря, несколько пугает. Сны психически здорового человека не должны быть такими... осязаемыми.

Я открываю глаза и вижу над собой бледный квадрат незнакомого потолка с лепным карнизом. Я слышу за окном гудение машин. Москва – город, в котором этот шум не смолкает в любое время суток. Я поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с мерцающими, нежными темными глазами женщины, которая мне снилась. И до сих пор снится?

Она улыбается уголками губ и поднимает руку, чтобы погладить меня по щеке. У нее такие холодные пальцы, и ее прикосновение так невесомо – словно на мою кожу опустились снежинки.

Я смотрю на ее бледное, хрупкое, невыразимо прекрасное лицо и говорю то, что чувствую, – говорю правду, которую не успел еще даже для себя осознать:

– Я люблю тебя.

Великолепно. Просто отлично: берем свое сердце и выкладываем перед ней на тарелочке, чтобы она могла его хорошенько рассмотреть, поковырять тонким пальчиком, может, даже разорвать пополам и заглянуть внутрь – проверить, как оно работает. Что еще она может сделать с моим сердцем – зачем оно ей, кроме как для удовлетворения любопытства? Я готов прикусить себе язык, но уже поздно. Это, впрочем, вполне в моем стиле – я же мастер необдуманных, спонтанных высказываний.

Она, однако, не смеется. Она закрывает на секунду глаза, и на лице ее мелькает странное выражение – словно мои слова причиняют ей боль. Но уже через мгновение она овладевает собой, встречается со мной взглядом и с легким вздохом вторит мне, как эхо:

– Я люблю тебя.

И хотя вот этого-то как раз совершенно точно не может быть, потому что не может быть никогда, именно теперь я окончательно осознаю, что не сплю. И все, что со мной –

с нами – было, мне не приснилось.

Не сон. Ее ладонь на моей щеке в машине, ее слова о том, что она давно хотела прикоснуться ко мне, – не сон. Ее расширенные от желания зрачки, ее приоткрытые в ожидании губы – не сон. Ее поцелуй, ощущение ее холодных губ, которые каким-то образом обжигают, и от них невозможно оторваться, потому что это физически больно. Мальчишкой я однажды лизнул на морозе металлическую стойку качелей, и пристыл к ней, естественно, и порвал губу, стараясь освободиться. Я хорошо помню, как решался на это: знал ведь, что будет, всех детей об этом предупреждают, но не смог удержаться от соблазна узнать, КАК будет. Это повторилось, когда я поцеловал ее вчера. Я пристыл к ней навеки. Я навсегда прикован к ее обжигающе холодным губам и не хочу даже пытаться освободиться. Не потому, что будет больно – хотя больно будет невыносимо. Потому, что это бесполезно – мне все равно больше не понадобятся мои губы. Я никогда не буду целовать других женщин. Других женщин просто не существует. Это – не сон. Это ослепительная реальность моей новой жизни, которая возможна только рядом с ней.

Я целовал ее и слышал вокруг нас какой-то глухой рокот – смутный потусторонний гул. Наверное, это кровь шумела у меня в ушах – я сам понимал, что она мчится по моим венам с ужасающей быстротой. Но мне казалось, что этот звук – отголоски того, как рушится вокруг нас привычный мир и как собирается вновь, навеки измененный. Новый

мир, построенный вокруг нас двоих.

То, как соскальзывал на пол белый мех норковой шубы, обнажая ее еще более белые плечи, – не сон. Контраст между ослепительной белизной ее кожи и темной, кроваво-бордовой, цвета ее губ тканью платья – не сон. Ее пальцы, избавляющие меня от одежды, ее легкие, быстрые, холодные прикосновения, оставляющие на моей коже огненные островки желания, похожие на ожоги, ее обнаженное тело, прижатое к моему – так, что я весь объят ледяным пламенем... Не сон. Мои руки, скользящие по ее гладкой, прохладной коже, по ее груди, бедрам, шее, по спине и заставляющие ее вздрагивать от каждого МОЕГО прикосновения, – не сон. Ее губы, прижатые к моей шее – к тому месту, где бьется пульс, – и застывшие там на какое-то одно бесконечное мгновение, перед тем как она с усилием отрывается, чтобы прижаться лицом к моему плечу. Яростная жажда в ее глазах. Невыразимая печаль, с которой она повторяет мое имя. Сила, с которой ее тонкие руки обнимают меня за плечи, призывая опуститься вслед за ней на кровать. Стон, которым она приветствует соединение наших тел. Ее руки, сжатые в кулаки у нее над головой – ногти впиваются в ладони, словно она боится сделать этими руками что-то не то, и останавливает себя на самом краю. Это она зря – мое тело с радостью примет все, что ей хочется с ним сделать, даже боль. Любую боль. Ее губы, сначала плотно сомкнутые, а потом искаженные странной гримасой страсти, – это почти оскал, он бы должен меня испу-

гать, но он только возбуждает сильнее. Судорога, проходящая по ее телу в момент оргазма. Не сон. Ее распахнутые, глядящие прямо мне в душу глаза. Мой ответ – мое полное, абсолютное опустошение, меня больше нет, я отдал ей всего себя, словно меня засосало в темную глубину ее зрачков. То, как дрожат мои плечи, когда я опускаюсь на нее во внезапно наступившей вокруг нас оглушительной тишине, и ее руки – все такие же холодные руки, – глядящие меня по спине. Не сон. Все это – не сон.

И это утро, утро нового мира, нашего мира, и ее взгляд, потрясенный, как будто и с ней произошло что-то невероятное, и ее ладонь, лежащая сейчас на моем сердце, – не сон.

Я немного напуган, но я улыбаюсь. А что еще делать человеку, с которым случилось чудо? Я зарываюсь пальцами в ее шелковые темные с красным отливом волосы. Моя рука дрожит.

– Я так счастлив. – Эти слова мелковаты для того, что я хочу выразить, они совершенно неадекватны масштабам моих чувств, но других я не знаю. Да и с любыми другими словами будет такая же проблема.

Она удовлетворенно вздыхает, придвигается поближе, чтобы прижаться ко мне, и произносит странную фразу:

– Это – самое главное.

Я хочу спросить ее, что она имеет в виду, хочу понять, что чувствует сейчас она. Но меня отвлекает тот факт, что ее кожа опять оказывается ледяной на ощупь. Неудивитель-

но, что ей не до разговоров о счастье – она просто-напросто замерзла. Я крепко прижимаю ее к себе.

– Ты совсем оочеченела. Иди сюда – будем тебя греть.

Ее голова лежит у меня на груди. Она улыбается, закрыв глаза, и говорит насмешливо, напоминая мне о бородастом анекдоте:

– Графиня и при жизни не отличалась горячим темпераментом.

Я ерошу ей волосы:

– Дурочка. Ты замерзла, это правда, но я никак не могу пожаловаться, что ты была со мной холодна.

Марина приподнимается на локте, чтобы посмотреть мне в лицо – оценить его выражение. Похоже, ей нравится то, что она видит. Снова опустив взгляд, она объясняет:

– Я не замерзла, на самом деле. У меня просто пониженная температура тела. Всегда. Такая... м-м-м, генетическая особенность организма.

– Что-то серьезное? – Уровень тревоги в моем голосе удивляет меня самого. Я боюсь за нее – она такая хрупкая, и мне все время страшно, что она вот-вот почему-то исчезнет, и на этом фоне мысль, что она может быть больна, меня по-настоящему пугает.

Но Марина отвечает совершенно спокойно:

– Боже упаси. Просто генетика – у меня это с детства. С тех пор, как я себя помню. Мне это не доставляет никаких неудобств. Но тебе, наверное, рядом со мной неуютно?..

Мне хочется, став на секунду тем героем мелодрамы, который бьет кулаками по стене, заявить ей, что рядом с ней – это единственное место в мире, где мне хорошо, и правильно, и вообще следует быть. Но я понимаю, что этот пафос в духе галантных романов XIX века покажется ей смешным. Хотя, с другой стороны, я уже сообщил ей, что люблю ее и что она делает меня счастливым, – все примерно в течение пяти минут. Сентиментальнее этого, кажется, уже ничего не может быть. Но мне все-таки кажется, что нужно сохранить какие-то остатки мужества и независимости – хотя бы внешние их признаки изобразить. Я хочу, чтобы она видела во мне хоть какую-то силу, а этого не будет, если она поймет, что наша ночь все внутри меня перемолола, как в мясорубке, и лишила какой-либо ориентации во времени и пространстве. Но, как шутится в старинной шутке, «фарш невозможно повернуть назад». Мне теперь так жить, и если я хочу, чтобы Марина позволила мне жить рядом с ней, я должен казаться сильным. Так что мне остается только спрятаться за бравадой. Я поднимаю бровь и усмехаюсь:

– Как же – неудобно мне... Это ты смотри, будь осторожна рядом со мной. А то растаешь, как Снегурочка.

Она смеется:

– Почему Снегурочка? Ты и вчера меня так назвал.

Я мучительно краснею, но врать ей не могу – мне остается только признаться ей, до какой степени она все время занимает мои мысли, как часто я о ней мечтаю.

– Потому, что я думал... ну раньше... Я помнил, какие у тебя холодные пальцы, и все время задавался вопросом: а холодные ли у тебя щеки? Потому что хотел сделать вот так... – Я беру ее лицо в ладони, как вчера в прихожей. – Хотел так сделать, и все думал – какой будет твоя кожа. И думал, что холодной. И называл тебя мысленно Снегурочкой. И был прав, оказывается.

Она хмурится в притворном замешательстве – включает-ся в игру:

– Хм... Если я Снегурочка, то кто же ты? Юный пастушок Лель?

Я качаю головой:

– Нет. Он противный инфантильный хмырь. И он ее не любил. Очевидно, я Мизгирь – горячий и страстный мужчина.

Она вскидывает брови:

– Не подходит. Снегурочка его не любила... И он умер. – Марина передергивает плечами, словно стряхивая неприятную ассоциацию. – Нет, это противная сказка, где никому не досталось ничего хорошего. А быть Снегурочкой при Дезде Морозе я не хочу – у нее нет личной жизни. И таять над костром не хочу. Нам надо найти другую сказку.

Я пожимаю плечами:

– Снежная королева? Я, конечно, староват для Кая, но мы можем считать, что мальчик вырос. За время пути собачка могла подрасти.

– Я не отдам тебя какой-то занудной и правильной Герде. – В эту секунду она очень серьезна.

Я смотрю ей в глаза и отвечаю тоже уже совсем нешутливо:

– Я не уйду. Мне не нужна никакая Герда. У тебя есть лед в холодильнике? Давай сюда – я сложу тебе слово «вечность».

– И ты будешь сам себе господин, и я буду должна подарить тебе весь свет и новые коньки? – она улыбается какой-то особенной, мудрой и тихой улыбкой.

– Весь свет и новые коньки – это отличная идея. Но ту часть насчет «сам себе господин» можешь забыть. Это мне не надо.

Зачем мне быть самому себе господином, если мне нравится принадлежать ей? Что я буду делать со своей свободой, если вдруг ее обрету – если она вдруг меня прогонит?

Она смотрит мне в глаза и повторяет – будто переспрашивая:

– Вечность?..

Я не понимаю, что означает выражение ее лица. По нему снова как будто проскальзывает боль. Я только киваю:

– Вечность.

Она закрывает глаза и наклоняется ко мне. Я прижимаюсь губами к ее лбу; моя рука лежит на ее волосах. Мы сидим так в постели, не шевелясь, очень долго. Будь моя воля, я бы вообще с места не двигался.

Но ее настроение уже изменилось – она мягко отстраняется от меня и соскакивает с кровати:

– Кстати, о холодильнике. Ты, надо думать, умираешь от голода. Пойдем, я тебе приготовлю завтрак.

Она удаляется своей характерной танцующей походкой – предположительно, в сторону кухни. Она ослепительно красива: тонкая, точеная обнаженная фигура, словно вырезанная из слоновой кости или какого-то особенно гладкого, лишённого прожилок мрамора. Ее нет рядом всего-то пять секунд, но я уже ощущаю пустоту и сиротское одиночество. Быть вдали от нее – это невыносимо, пусть даже эта «даль» измеряется тремя метрами пола, покрытого пушистым белым ковром.

Марина замечает мой взгляд и грозит мне пальцем:

– Я знаю, о чем ты думаешь. У тебя голодные глаза. Но поверь мне: сначала тебе лучше утолить настоящий голод.

Я, конечно, повинуюсь ей и тоже поднимаюсь с постели. Но бормочу очень тихо:

– Мне лучше знать, какой голод – настоящий.

Она отвечает мне с порога комнаты, не оборачиваясь, и в голосе ее звучит смех:

– Я тебя слышала... И ты все равно не прав. Я хорошо знаю людей! Давай ты подождешь с такими безапелляционными утверждениями, пока не попробуешь мой фирменный омлет с сыром. Кстати, ванная – через левую дверь, сразу за гардеробной.

Мне определенно нужно в ванную, и я следую ее указаниям, заодно пользуясь случаем изучить квартиру, которую вчера вечером, естественно, не разглядел, – я вообще ничего вокруг себя не видел, не то что красот интерьера. Судя по высоте потолков, это старая квартира – дом, очевидно, «сталинский», из довоенных: мои родители-архитекторы научили меня распознавать подобные тонкости. И Марина мало что в ней изменила: двери, лепнина, паркет выглядят подлинными – хотя, конечно, отреставрированными. Это хорошо – терпеть не могу, когда хорошие квартиры покупают ради места или вида из окна, а потом потрошат, лишая какой-либо индивидуальности, и набивают холодной угловатой белой мебелью. Мебель у Марины, правда, тоже белая – в основном, хотя в наличии множество оттенков от слоновой кости до туманно-серого. Даже деревянные части вроде подлокотников кресел или книжного шкафа побелены. Но стиль у вещей очень правильный – спокойно-консервативный. Словно это «бабушкины» вещи, только чуть обновленные, перетянутые модным холстом вместо протертого старого бархата. Может быть, кстати, так оно и есть – может, здесь и жила когда-то ее бабушка. Я не знаю этого – я вообще, в сущности, очень мало о ней знаю.

Через ее гардеробную я прохожу зажмурившись. Не хочу знать, как много у нее дизайнерских шмоток, и не позволю царящему там идеальному порядку заставить меня мысленно устыдиться собственной квартиры, где мятые джинсы

и майки разбросаны по всей мебели, книжки и диски лежат где попало и все покрыто шерстью вечно линяющего престарелого кота Баюна – к которому мне, кстати, нужно бы сегодня попасть, чтобы подсыпать еды в миску и несколько развеять его сонное одиночество.

Интересный у меня ход мыслей – «надо бы попасть домой»... С чего я взял, что у меня будут с этим трудности? Вероятнее всего, она меня сейчас накормит и выставит. Это моя проблема, что я совершенно не хочу уходить, что в моем мозгу одна за другой проносятся увлекательные картины того, как можно провести эту субботу, вообще эти выходные... Разные есть способы – главное, что все они для меня завязаны на желании быть с ней рядом. А в том, что она это желание разделяет, никакой уверенности нет.

Ее ванная похожа на спальню – тоже вся в оттенках белого. И тоже уютная. На видном месте на столешнице матовой фарфоровой раковины я обнаруживаю запечатанную зубную щетку. Интересно, когда она успела ее тут положить? Меня как-то неприятно поражает мысль, что пока я валялся в отключке на ее кровати и невежливо дрых, она вставала, ходила по квартире без меня, принимала душ и доставала эту зубную щетку. Кстати, это очень предусмотрительно – иметь в хозяйстве запасные гигиенические принадлежности для случайных гостей. Моя щетка, между прочим, синяя. Из запасов для гостей-мужчин, надо думать.

О – ну конечно. Она и свежее полотенце тоже положила

на видном месте. Очень гостеприимная девушка.

Я принимаю душ, в очередной раз за это утро поражаясь тому, каким чужим мне кажется собственное тело. Словно соприкосновение с ней что-то во мне изменило. Фарш невозможно повернуть назад... Все правильно, мое тело больше – не мое. Оно принадлежит ей.

Господи, какой же я сентиментальный кретин!

Собственная физиономия в зеркале меня не вдохновляет. Влажные волосы стоят дыбом – ну это как всегда. Я делаю попытку их несколько причесать пальцами – без какого-либо успеха. Остается надеяться, что Марине действительно нравится моя растрепанная шевелюра. Выражение глаз у меня какое-то дикое – словно я чем-то потрясен и напуган. Впрочем, так ведь оно на самом деле и есть, и удивляться тут нечему. На шее у меня засос. Это хорошо – это приятно. Плохо то, что я здорово оброс, – у Марины такая нежная кожа, наверное, ей неприятно прикосновение рыжей щетины на моем подбородке. Бритвы, однако, нигде не видно – бритвы ее стратегические запасы для проходящих мужчин не предусматривают. И на том спасибо. Бриться ее станком Venus я, пожалуй, все-таки не буду.

Самое обескураживающее в моем положении, конечно, то, что я голый. Сюда я пришел, как-то об этом не подумав. Но выходить голым из ванны... по-моему, несколько самонадеянно. Я нервно оглядываюсь по сторонам в поисках выхода из положения. Я могу, конечно, обернуться полотенцем

и пуститься на поиски своих штанов. Но я понятия не имею, где их искать, и это тоже может оказаться неловким ходом...

И тут я вижу на двери заботливо приготовленный для меня мужской халат – атласный, прости господи. Приятного темно-серого цвета.

Черт возьми, лучше бы у нее была наготове бритва.

Несколько секунд я провожу в каком-то очень противном разделе своего мозга – там, где перед моими глазами стоит образ расслабленного и самовлюбленного арт-критика Холодова, одетого в халат, который теперь приготовлен для меня.

Но потом я замечаю кое-что, что хотя бы отчасти примиряет меня с действительностью. На воротнике халата имеется магазинная бирка. Он совершенно новый, этот халат, – никакой Холодов его не надевал. Просто опять стратегические запасы.

Я улыбаюсь, вертя бирку в руках, а потом обвязываюсь полотенцем. Я вполне способен отыскать свои джинсы и в таком виде. Ничего со мной страшного не случится.

Мои джинсы, кстати, оказываются тоже на видном месте – на стуле возле кровати. Марина – очень вдумчивый, предусмотрительный и заботливый человек. Я натягиваю джинсы и иду в кухню – направление мне указывает запах свежего кофе.

Она права, конечно – я действительно, оказывается, голоден как волк. А ее омлет в самом деле великолепен. Она сидит напротив меня за кухонным столом (благослови ее небо-

са, она добрая женщина – жалеет мою нервную систему и потому надела халат, шелковый, такого же бордово-красного цвета, что и ее вчерашнее платье). Облокотилась на стол, подперла щеку рукой и замороженно смотрит, как я ем. Ей-богу, я не понимаю, что она видит во мне такого, отчего у нее глаза затуманиваются и на губах блуждает тихая улыбка.

Под ее взглядом я в очередной раз краснею. Заметив это, она поясняет, неопределенно помахав в воздухе свободной рукой:

– Ты очень аппетитно ешь. Очень заразительно.

– Видимо, недостаточно заразительно. Ты сама-то почему не ешь?

Перед ней стоит стакан с какой-то загадочной красноватой бурдой, которую она приготовила себе в блендере, пока жарился мой омлет. Она пьет ее через соломинку. В ответ на мой вопросительный взгляд она корчит одну из своих забавных гримас:

– Особая диета. Это биологически активный коктейль. Очень полезно.

– Дашь попробовать? – Мне интересно все, что связано с ней. И конечно, я хочу знать, ради чего она в это чудесное утро отказывается от своего дивного омлета.

Марина очень решительно трясет головой:

– Ни в коем случае. Это гадость страшная. Ты же знаешь – все, что полезно, невкусно. И вообще, это только для девочек. Влияет на кожу, нормализует гормоны, все такое. Тебе

это не нужно.

Я смотрю на нее в недоумении:

– Как можно делать мужской журнал, будучи до такой степени женщиной?

– Странно, что ты так говоришь. Я сама себе иногда кажусь мужиком в юбке. Мне кажется, у меня вполне мужское устройство мозга.

Я смеюсь:

– Поверь мне, пить противный биологический коктейль, потому что он полезен для кожи, – это не по-мужски.

Она встает из-за стола, ставит передо мной пепельницу (она определенно идеальная женщина, если сама понимает, что без утренней сигареты и кофе – не кофе!), а сама тем временем убирает свой пустой стакан и мою тарелку в посудомоечную машину.

– Наверное, ты прав. Ну тогда будем считать, что я делаю хороший мужской журнал именно потому, что женщина до мозга костей, и знаю, каким должен быть настоящий мужчина.

– Я помню – он должен быть манекеном без головы. Чтобы к нему можно было приставить любую – по желанию... Скажи мне, гражданка начальница. Ты специально вчера одела меня, как в той съемке?

Она смотрит на меня с непередаваемым лукавством:

– Конечно. Нужно же было дать тебе понять, что я о тебе думаю.

Мое сердце начинает биться быстрее. Я, наверное, опять покраснел.

Марина поясняет мягко:

– Я же сказала тебе, что манекены в съемке и правда похожи на мужчину моей мечты. Неужели ты не видел, что одел их... собой? В самом деле нет? Как странно. Ты просто не видишь себя со стороны. Но, может быть, это и хорошо. Иначе ты бы зазнался.

Мне остается только молча разглядывать столешницу – из кремового мрамора, между прочим. Кем вообще надо быть, чтобы иметь кухонный стол из белого мрамора? Я кое в чем все-таки был прав в те невообразимо далекие времена, когда считал ее балованной сучкой: у нее все, от одежды до кухонного стола, неприлично, невыносимо дорогое. Но теперь мне не до этого. Теперь я сижу и предаюсь самоедству. Я не понимаю, как это может быть, чтобы она – ОНА – видела во мне что-то особенное. И до сих пор не верю, что она не шутит, не преувеличивает, не жалеет меня – со снисходительностью, которая подобаает высшему существу, благорасположенному к простым смертным.

Я и не заметил, как она оказалась рядом со мной и ее прохладная ладонь легла на мое голое плечо. Я поднимаю глаза, и у меня в очередной раз перехватывает дыхание от того, как она красива. Она улыбается, но голос ее звучит серьезно:

– Влад... Очень важно, чтобы ты понял одну вещь. Сейчас, в спальне... Что я сказала тебе, когда ты открыл глаза?

– Что любишь меня. – Хотелось бы знать, какое у меня сейчас лицо?..

Она кивает головой:

– Верно. И я сказала это не просто в ответ тебе. Я сказала так, потому что это правда. И – слушай внимательно, это тоже важно: я никогда – никогда не говорила этого, ни одному человеку. Ни одному живому существу. Я не бросаюсь красивыми словами после хорошего секса, никого не утешаю, никому не хочу сделать приятное. Это не в моей природе. Я очень эгоистичное существо, я точно знаю, чего хочу, и никогда от этого не откажусь. Тебе нужно это знать – тебе нужно понимать меня, для твоей же пользы. В моей любви нет ничего особенно хорошего, и тебе, на самом-то деле, стоило бы держаться от меня подальше. Правда, теперь уже все равно поздно – я тебя не отпущу. Я хочу тебя, я тебя получила, и теперь ты всегда будешь рядом. Потому что такая, как есть, – я люблю тебя. И не смей в этом сомневаться. Никогда.

Она говорит с такой убежденностью, с такой внутренней силой – даже как будто с гневом. Остатки моего вынесенного мозга шепчут мне, очень издалека и едва слышно: к ее предупреждениям стоило бы прислушаться. Что-то в них, наверное, есть. Я ведь и сам чувствую, что она необычная женщина, что рядом с ней со мной происходит что-то странное – какой-то распад личности. Словно, обретая ее, я теряю себя. Но мне так важна та, другая часть ее тирады – та, что про любовь и про то, что она меня не отпустит, потому что хо-

чет меня и хочет, чтобы я был рядом, – все это внушает мне такую эйфорию, что я не могу сосредоточиться на неприятном. Мне так хочется ей верить.

Маринина рука все еще лежит у меня на плече, и я склоняю голову, чтобы поцеловать ее запястье. А потом обнимаю за талию, чтобы привлечь к себе.

Ее глаза полуприкрыты, а дыхание прерывисто. Ее губы – ее холодные, как металл на морозе, обжигающие губы – кажутся такими яркими на бледном лице. Я целую ее.

Не сон. Ее короткие вздохи, мое ошеломленное молчание, наши прикосновения, выражение ее глаз, и ее древняя как мир и непонятная мне печаль – все это правда.

Она лежит в кольце моих рук, и ей это нравится. И это не сон...

8

Я сижу за компьютером в своем кабинете. За окном – темный январский вечер. Мой кабинет на верхнем этаже, и я слышу, как за окном воет ветер. Станный, тоскливый и первобытный звук, будто мы в деревне, а не в центре мегаполиса. Кажется, вот-вот к стонам ветра добавиться волчий вой.

На экране передо мной мерцает заходная страничка новостного сайта. Я быстро просматриваю свежие ссылки, ища подтверждения своим смутным догадкам. И меня душит страх. Я хочу понять, права ли я. Но одновременно все мое существо восстает против того, что с каждой минутой кажется мне все более очевидным. Невозможно, чтобы реальность так скоро нарушила то почти идиллическое существование, которое я вела в последние недели. Нет еще. Не сейчас. Желательно – никогда. Ну почему иногда годы проходят без всяких происшествий, так что даже скучно становится, а в тот момент, когда это совсем некстати, начинает происходить что-то крайне неприятное – тайные стороны моей жизни словно бы выползают из тени, грозя нарушить хрупкое равновесие? За что мне такое? Ведь все, кажется, было хорошо.

Я вынуждена признать: до сих пор все складывалось довольно гармонично.

Я не просто получила Влада – не просто добилась того,

что хорошо для меня. Я если и не сделала чего-то, что было бы действительно хорошо для него, – я хотя бы по крайней мере еще не успела причинить ему никакого вреда. Я ничем его не ранила. Не сделала больно – ни физически, ни душевно. Мы вместе уже больше месяца, а он до сих пор жив, здоров, весел и счастлив. Он больше не страдает – не так, как прежде. И он все еще видит во мне... Интересно, собственно, что он во мне видит? Хотелось бы мне сказать просто – «любимую женщину». Но я не могу – это будет не совсем верно. Я не знаю, что за мысли проносятся в его лохматой голове, когда он смотрит на меня не отрываясь и следует за мной взглядом, куда бы я ни пошла, – как... как подсолнух за светом. Но я понимаю, что в его глазах я – нечто особенное. Что он мысленно наделяет меня какими-то нечеловеческими, мистическими качествами – недаром, говоря со мной, он так часто сбивается на образы из сказок. Но не обычных, а несколько зловещих – о таинственной и холодной деве, которая каким-то необъяснимым образом приковала к себе обычного юношу. Как «прекрасная, безжалостная дама» в стихотворении Джона Китса: «La belle dame sans merci. Ты видел. Ты погиб». Один разговор о Снежной королеве чего стоил... А вчера на работе я была Медной горы Хозяйка: я попросила его что-то исправить в верстке, он пустился в объяснения того, что и почему не ладится у него с этой страницей, а потом бросил на меня быстрый взгляд и протянул, довольно похоже изобразив мою манеру гово-

ритель: «Ну что, Данила-мастер, не выходит у тебя каменная чаша?»»

Определенно, он видит во мне что-то особенное. И стесняется этого – думает, что это просто потому, что у него крышу снесло и что это его «заносит». Он думает, что любит меня слишком сильно, сильнее, чем я его, и его гнетет то, что он считает проявлением своей «слабости». Потому-то я и не могу сказать, что он не страдает вовсе. Понимает ли он, что мои слова о любви – не шутка и не ложь? По-моему, нет. И сколько я ни говорю ему о своих чувствах, он мне не верит. То есть он радуется, конечно, но в глубине души все равно убежден, что я просто жалею его и хочу сделать ему приятное. И простая мысль – с какой стати мне делать ему приятное, если я его не люблю? – не приходит ему в голову.

Бедняжка – он боится, что я его не люблю. Но дело ведь не в этом – дело в том, что бояться ему надо как раз моей любви.

Надо отдать ему должное – на работе он держится очень корректно. Мне повезло, что он такой порядочный человек: иной в его положении, в разгар романа с начальницей мог бы начать фамильярничать и пользоваться своей властью. Влад – никогда. Возможно, потому что не понимает своей власти надо мной – он знает только о моей власти над ним. Но и на нее он никак публично не намекает. Никаких пошлостей – все его поклонение происходит в свободное от работы время. Даже на нашей новогодней вечерин-

ке он вел себя в высшей степени корректно, хотя вести себя прилично на корпоративе – достижение, невысказанное для любого смертного. Среди пьяного безумия, в ходе которого стилисты модного отдела лихо отплясывали с толстушками из бухгалтерии, приводя всех в замешательство и смущение, мой арт-директор не стал злоупотреблять ситуацией. Среди общего нелепого разгула он вызвал меня всего на один танец и не позволял себе никаких вольностей – только смотрел мне в глаза, долго, пристально. И улыбался. И это было для меня важнее любых, самых откровенных объятий. Тем более что и для них нашлось время – потом, когда мы ушли отсюда, порознь, чтобы не привлекать внимания, и встретиться на углу занесенного снегом Кузнецкого Моста, и поехать через белый ночной город на такси ко мне, и пить шампанское на террасе, глядя на оголенные деревья бульваров и огоньки праздничной иллюминации, которыми украсилось кафе у меня под окнами, и уйти потом, когда я заметила, что он мерзнет, в спальню, и заниматься любовью в призрачном свете, которым всегда награждает город свежий снег.

Мне повезло: да, меня поразила опасная, неразумная страсть. Но по крайней мере я инстинктивно выбрала хорошего человека. Я внимательно слежу за реакциями окружающих нас людей, и пока что я могу быть спокойна: никто ничего не замечает. Ну, кроме тех, кто очень, очень хорошо меня знает.

Сергея все понимает, естественно, но он тактично ушел

в тень, когда все решилось, – теперь он только звонит мне время от времени и расспрашивает, как и что, хитро при этом посмеиваясь. Я, признаться, злюсь на него. Что в этом смешного? Нет, я понимаю, конечно, что смешна я сама. Но, учитывая все обстоятельства, он мог бы быть и потактичнее. Старый циник. Не будь он таким давним другом, ему бы не поздоровилось.

Грант Хэмилтон тоже, конечно, все понял – от его взгляда ничего не скроется, недаром я не только много лет с ним работаю, но и на самом деле его уважаю. Прямо перед Новым годом, когда он в очередной раз приехал в Москву – как раз ради нашей корпоративной вечеринки, он их никогда не пропускает, потому что испытывает извращенное удовольствие, говоря людям приятные слова на праздниках, – мы с ним имели разговор. Он специально оставил где-то шататься в одиночестве свою красотку Ванессу – предупредив, конечно, чтобы она вела себя прилично в чужом городе и держала себя в руках. Странная она все-таки девица, я столько лет ее знаю, и у нас, казалось бы, должно быть много общего, но я до сих пор не научилась находить хоть какие-то темы для разговоров с ней... Так или иначе, Грант оставил ее одну и позвал меня в наш любимый клуб, «Дети ночи». Единственное место в городе, где подают «Кровавую Мэри» так, как мне это нравится, – если, конечно, знаешь, у кого из барменов попросить. Мы сидели в отдельном кабинете, который и мне, и Гранту всегда предоставляют без лишних

слов, как только мы появляемся в дверях – вернее, раздвигаем занавеси из тяжелого красного бархата, которые заменяют в этом заведении двери. В этом кабинете нам не мешали мерцающие огни и шум танцпола, и Грант с любопытством смотрел на меня, постукивая бледными пальцами по столу из темного дерева – интерьер в этом месте замечательно готичный, все сплошь черное, или красное, или серебряное. Я понимаю его любопытство: наверное, от меня и в самом деле было трудно ожидать того, что я сделала. Я всегда производила впечатление выдержанной, разумной особы.

Разговор у нас вышел не столько тяжелый, сколько бессмысленный. Грант повторил все то же, что говорил мне Сережа тогда на террасе, – все то, что я и сама прекрасно знаю. Что это неосторожно. Что это, скорее всего, плохо закончится. Что рано или поздно мне придется что-то предпринять, чтобы разрулить возникшую ситуацию. В какой-то момент он сказал: «Ты вольна, конечно, жить так, как хочешь, – не мне тебя упрекать. И за тебя я не беспокоюсь. Мне мальчика жаль – он чертовски хороший работник, я сам его нанимал, и мне не хотелось бы его потерять. Лично ты не делаешь ему ничего плохого – в это я верю, потому что хорошо тебя знаю. Но сама по себе ситуация... может стать напряженной. Это вечная проблема сильных мира сего – мы не можем никого приблизить к себе, не поставив под удар. Как там говорил у Шекспира Кориолан, когда он проклинал Рим? „Не замкнут мир меж этих стен“. Мы живем не в изо-

ляции. Нас много. У нас есть соперники, они следят за нами орлиным оком и только и ждут, чтобы мы оступились. И мы уязвимы, если у нас есть что-то, что нам дорого. В твоём случае это Влад. Положение нашего фаворита – временное и шаткое. Находиться слишком близко к власти... чревато. Нельзя оставлять его в подвешенном состоянии бесконечно. Если уж ты приблизила его к себе, не останавливайся на полпути. Укрепи его положение. Сделай его... равным себе. Одним из нас».

Я вежливо, но решительно отказалась – сказала, что придумаю что-то еще. На то, что предлагает мне мой любимый лондонский друг и начальник, я не могу пойти. Не готова – и, наверное, никогда не буду готова. Потому что Грант говорил не о том, чтобы выделить Владу энное количество акций компании и ввести его в совет директоров... Хэмилтон пожал плечами и перевел разговор на другую тему.

Да, я не могу сказать, что вообще все вокруг безмятежно. Но с Владом по крайней мере все обстоит хорошо. Конечно, бывают моменты, когда я чувствую себя неуютно. Один такой наступил уже в первый день нашего романа, когда, пораженный и обрадованный тем, что я искренне хочу провести все свое свободное время с ним, – он, кажется, на это не рассчитывал, – Влад сообщил мне, изрядно стесняясь, что ему обязательно нужно попасть домой, чтобы покормить кота. Я пошла с ним. Он может в это не верить, но мне так же мучительно оставаться вдали от него, как и ему – от меня.

И это было огромной ошибкой. Потому что при виде меня его кот – серьезное, старое и мудрое животное – будто с ума сошел. Он смотрел на меня дикими глазами, шипел, выгибал спину и пятился в угол. Он и от Влада шарахался – наверное, чувствовал на нем мой запах. Мне пришлось пробормотать что-то о том, что животные меня не любят, и выйти на улицу – и даже оттуда мне были слышны отголоски затихающей кошачьей истерики. Я ведь знала заранее, что так будет – не стоило мне подниматься в квартиру. Но мне хотелось посмотреть, как Влад живет. И я сглупила. Непростительно.

А живет он, надо сказать, в совершенно очаровательном месте – на улице Чаплыгина, на втором этаже старого пятиэтажного дома. Совсем рядом со мной – в пяти минутах пешком. Дверь его подъезда – старая, деревянная, покрыта облупившейся коричневой краской. За ней – лестница, мраморные ступени, все кривые, полустертые. Дверь в квартиру обита кожей, с медными гвоздиками по контуру, – это так мило, я столько лет таких не видела. В коридоре скрипучие полы, и в лучах света пляшет неистребимая пыль – во всех старых квартирах так. Две комнаты и кухня – маленькие, но с высоченными потолками, невероятно захлапленные, полные книг и дисков. Как ни странно для такого модного молодого человека, Влад слушает много классики, настоящей и «классики рока», – он сам смеется, что его музыкальное развитие остановилось приблизительно на группе Queen.

Мне жаль, что я не могу оставаться у него в этой квартире, – мне кажется, то, что он все время вынужден приходить ко мне, вызывает в нем какую-то неловкость. Это понятно: любому мужчине хочется принимать женщину на своей территории. Но я не хочу подвергать старого кота ненужному стрессу. И не хочу, чтобы к туманным рассуждениям Влада о моей необычности прибавились тревожные соображения о том, почему от меня шарахаются животные. Мне и так везет, что мой возлюбленный не замечает относительно меня многих странных вещей. Того, например, как я мало сплю. Того, что я практически ничего не ем. Того, что слышу его, даже когда он шепчет что-то в другой комнате. Того, что я люблю гулять в основном в пасмурную погоду. Того, что меня невозможно согреть, – это даже кажется ему романтическим. Он любит меня и принимает такой, какая я есть. Мне несказанно, невероятно повезло с ним. В самом деле, если бы даже я специально выбирала, кого мне любить и губить, я не смогла бы найти никого более подходящего.

Но и более НЕ подходящего – тоже. Потому что, имея склонность и предназначение отсекал человека от привычной, нормальной жизни, я выбрала того, у кого эта жизнь есть. Молодого. Талантливого. Красивого. Из тех, у чьих ног должен расстилаться весь мир, – только он этого не осознает, как не осознает своей красоты. Человека из большой, любящей семьи – он познакомил меня со своими родными в неделю после Нового года. Их так много – у него есть родители,

брат и сестра, и какие-то тучи племянников и племянниц. И они приняли меня так тепло – не потому, что я им чем-то так уж понравилась, наверняка, наоборот, я показалась им странной. Нет, они были веселы и любезны просто потому, что я – «девушка Влада». Им этого достаточно.

Если бы все было так просто.

Они простили ему даже, что он не встретил с ними Новый год, как делал всю жизнь, – мы провели праздник наедине, снова у меня, наверху, и это была, наверное, лучшая ночь моей жизни. А он, чудак, еще стеснялся мне это предложить – думал, что у меня есть какие-то бурные планы, что я хочу увидеть своих друзей, куда-то пойти. Что мне мало будет его одного, чтобы быть счастливой. А мне ничего не нужно, кроме него – кроме как сидеть с ним на ковре под живой, терпко пахнувшей елкой, и говорить о какой-то замечательно важной ерунде, и слушать, как он читает мне старое стихотворение «Плюшевые волки». Ему кажется, что фраза «Все я жду, что с елки мне тебя подарят» – это про его чувство ко мне. Но это не так – все наоборот. Это он – мой подарок. Бесценный и незаслуженный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.